

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ЖУКОВСКИЙ

УМСА - PRESS
ПАРИЖ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ЖУКОВСКИЙ

УМСА-PRESS
ПАРИЖ

**Copyright 1951 by YMCA-PRESS.
Société à responsabilité limitée, Paris.
Tous droits réservés.**

Мишенское и Тула.

Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извивающимися зеркальными Русь чрез Рязань до Волги — светлая душа страны.

На полупути между Орлом и Калугою протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, с яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии — те места подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том-же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Бунину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный

дом с флигелями, оранжереи, пруды, парк, роща дубовая. Недалеко сельская церковь — как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие пышные луга. Просторная, бессвязная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иванович человек добрый и благородный, ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно просто: охота, водочка, развлечения деревенские и слабость явная — по женской части.

Он женат на Марии Григорьевне Безобразовой. Нередкое вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного и женщины несущей бремя покорно и безответно, “подымающей” дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз, за короткое время, пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзажиков и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь русские альманахи и журналы (какие названия! “Приятное и полезное препровождение времени”, “Распускающийся цветок”, “Иппокрена, или утехи любословия”). Девушки же насыщаются и французским: “Новая Элоиза” Руссо, “Адель и Теодора” г-жи Жанлис, и в подобном роде — чувствительное и романтическое. Все с детства хорошо говорят по французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества — то рекрутский набор, то продажа

людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буниных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Иваныча, Варлашка, — смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полу-друг, полу-служащий, полу-приживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, играющей на фортепиано и “изрядно” певшей. Был и “управителем” богослужебного пения в доме и церкви. Этот Андрей Григорьевич оказался не зря в доме Буниных. Да и русской литературе принес смиренный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иваныч полу-в шутку: “Вот, идешь воевать, турок бить — ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе”.

Война оказалась удачная. Все, что надо было забрали, что надо — сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу, при этом, перебили достаточно и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи — а было ей всего шестнадцать лет — убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Иваныча; турчанки — собственность воителя. Но возвратившись в Мишенское с награбленным, тур-

чанок передал он Афанасию Иванычу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном: Сальхи, молодой вдовы — “прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной” и бедной девочки Фатьмы, захиревшей и скоро умершей: Бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха-же выжила. Ее сделали няней младших дочерей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно начала подниматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место — русские девушки-госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Иваныча было бы пропустить такую Сальху. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть, что и нравился. Все равно, если-бы и нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком случае, так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Спротивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле

незаметно, так бы незаметно и прошла, если-бы...

Одна за другой появлялись у ней девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно. Но вот 29 января 1783 года явился на свет Божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно по просьбе самого Бунина, Андрей Григорьич Жуковский, в это время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть приемником турецкого мальчика, крестной-же матерью предлагал Варю Бунину — ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна согласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее ею испытанное, была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод "греха" и обиды. Каков будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услышала. Маленький, новый, полу-пленный беззащитный человек.. Сердце ее дрогнуло и открылось. "Безмолвно усыновила она его в своей душе".

Так все и вышло. Андрей Григорьич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по гречески царь. Но по русски звучит мягко, скорей женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреич Жуковский.

**

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иваныч вернулся в большой

дом. Отношения их стали лучше — над чем то поставлен крест. К Сальхе-же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь-же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоговейное. Сальхою, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Варя Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругою детства Васи Жуковского, его "одноколыбельницей", как он потом выражался (маленьким. он ложился иногда к ней в кровать, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо-вившиеся от природы волосы, ранняя склонность к мечтательности (несколько и рассеян) — светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный.

Выясниться это могло лишь позже. Про эти-

же младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и “мужественное”, тоже довольно рано, в облике непривлекательном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из **портяжного заведения**, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учитя он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горюх), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость несвойственна. И Марья Григорьевна и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорыч пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры — с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону Божией Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу, и повидимому удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены; крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила — у мальчика руки испачканы были мелом.

Андрей Григорыч очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая — есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с ним, отдельно от семьи, “на чердачке во флигеле”. Почему вышло это — неясно. А как будто показывает, что

не совсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорьича. Незаметно, безшумно ушел он из жизни крестника. След-же, конечно, оставил (благотворный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иваныч получил место в Туле. Туда переехали всей семьей, Мишенское осталось для лета. На учении мальчика это отозвалось тем, что его отдали в Туле в пансион Рюде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим-же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Иваныча, в марте 1791 года. Не то, чтобы любил он его или был близок. Скорее наоборот — далек, да и неясно восьмилетнему мальчику кто это, барин не барин, отец не отец — некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили — весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с “бабушкой” и полу-племянницей, “одноколыбельницей” Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм — первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щеки. Аня достать не могла — он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно-же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки —

кроме Ани Дуня и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим "дядюшкой", который им довольно странно приходится, как бы и свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья-же Григорьевна остается с частью внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

**

Варвара Афанасьевна Юшкова, "крестная", была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку — музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорьевиче Жуковском со скрипкою его и хоровым церковным пением.

В Туле размах оказался шире. Варвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась и сама она была направления передового — сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других

того-же духа. Интересовалась она и текущую литературу альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрывшемся, а в народном тульском училище.

Старший учитель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший, (сотрудничал в "Полезном и приятном препровождении времени" под псевдонимом "Философ горы Алаунской"), не приручил мальчика к науке и вообще его не понял. "Я помню", писал старый Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой: "как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприязни".

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок своеобразный, со своими вкусами. А ему вдабливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего не вышло, училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да и еще многому другому.

Главное-же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского — сочинил, например, подражая, пьесу "Камилл или освобожденный Рим", которую и поставил сам, к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер — играет Камилла. Девочки в бе-

лых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления — столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плашки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес — простыня. Кулисы и декорации — мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце с лентами. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской, но тут обращалась в царицу. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. “Познай во мне”, говорит она: “Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!” “О боги, Олимпия, что сделала ты?” восклицает Камилл. “За Рим вкусила смерть!” И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор — как и многие молодые авторы — сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько же это интереснее, чем зубрить правила арифметики у философа горы Алаунской!

Выбирается произведение еще более подходящее (по духу чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернардена де С. Пьера “Павел и Виргиния”. Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу “Г-жа де ла Тур” Теперь уж он опытный режиссер, труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но

театр вещь коварная. Не все знаешь заранее, подымая занавес — оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплеховали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился десерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась-ли Варвара Афанасьевна — был ли десерт слишком вкусен, обилен? Слишком-ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? — Летописец сообщает кратко: “Актеры вышли из ролей и представление расстроилось” — разумеется, к ужасу будущего романтика занялись больше десертом, чем искусством. И насколько “Камилл” прошумел, настолько провалилась “Г-жа де ла Тур”. Автор был очень недоволен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в себе. С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек (“девический ареопаг”, будто-бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.



Может быть, частью плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полу-матерински), всетаки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это еще не имеет значения, но вот вре-

мя идет, он уже автор “Камилла”, вопрос должен вставать — и перед ним, и перед девочками. Кто же этот Вася Жуковский, полу-братец, полу-дядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину старому. Все-же отрок, чья мать турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полу-прислуга, полу-рабыня, отец же незаконный — такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковско-го это было труднее, в нравственном-же полезнее: удаляло от кичливости, высокомерия барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все-же сидел помещик, “дворянин”, от которого надо было освободиться (Пушкина — смерть и страдания ее освобождали.). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененном в быту крепостничества. Не приходилось ни знатностью, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из “интеллигентов” российской литературы.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась “госпожа” — он ее звал всегда: бабушка).

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк — в нем некогда служил и Афанасий Иваныч. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел Императрицу

Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребяческие, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет “Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна”, спрашивает о ее здоровье, говорит о своем (“здоров и весел”). Описывает и свою жизнь: “Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками”. (Дар располагать к себе был щедро ему дан — с ранних лет).

“Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем”.

Подписывается он: “Навсегда ваш послушный сын Васинька”.

В другом письме сообщает, что у них был “граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я тоже пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович”.

От родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: “У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей...” “Всегда ваш послушный сын Васинька”.

Правда, что развлечения больше в пальбе, но очевидно драматург и режиссер тульский не очень и требователен, мир-же перед ним открывающийся — вся вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол взошел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез “Васиньку” обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому — не ружейным приемам и не арифметике философа Алаунского.

Университетский Пансион.

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор Университета Московского, основал при нем Благородный Пансион — нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, Пансион обосновался между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель — квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управлял “директор Университета” Тургенев и инспектор Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целью не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и “друга человечества”.

Удивительно обучение этого Пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от закона Божия до наук военных. Но главное — литература,

история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки — русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом Пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем же — дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым был потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино да Фельтре, известный педагог, создал свою Casa gli-oiosa, учебное заведение, проникнутое духом гуманности и свободы — оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский Пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало. Среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а “бабушка”. Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала никогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а “Васиньку” вести как сына.

Обещание выполнила. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по 2500 р., т. ч. к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все-же свои средства. Главное-же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный Пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер Пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие учителя, товарищи лю-

бопытные, благочестие, литература и искусства... — можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иванов ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из Народного Училища, но вот теперь все оборачивается по иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе (“словесное отделение” Пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурою его — поэзией.

Прокопович - Антонский, благожелательный масон, был первым Председателем Общества Любителей Российской Словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу Пансиона, а распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, усаживали гостей, и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников — литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор “Камилла” заявил себя сразу, и в 1799 г. при первом-же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы — Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать — ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18-го мая 1799 года).

“Председатель В. А. Жуковский” (ему шестнадцать лет) “открыл заседание речью “О начале обществ, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу”. Потом читали стихи воспитанника Лихачева “Ручеек” — передали на отзыв. Жуковский “внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах”, некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: “Нечто о душе”. Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина “Россу по взятии Измаила”.

... “Председатель В. А. Жуковский назначил чередного оратора, чем и кончилось заседание”.

**
*

Жуковского времен Пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В Пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь

день с большой точностью, до 9 вечера, когда “после ужина и молитвы” предписано “спать ложиться благопристойно, без малейшего шума”. Все вообще в Пансионе “благопристойно”: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно — как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность, и фантазию — всё учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мишенском, находился он здесь в совсем естественном положении. Товарищи его — вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это — старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопросы материального для этих юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, “усыновленный” маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков, денег карманных у него мало. В этом он один из последних в Пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастью, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого Пансиона.

Духовная-же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его предсе-

дателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы “лучшим из старшего возраста”. Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут-же указывалось: “Утренние и вечерние размышления на каждый день года” протестантского проповедника Штурма, “Книга премудрости и добродетели”, Додслея. “Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца”.

Жуковский читал, значит, и сам, и другим, мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это — хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, “обыденная муха”. Жизнь моря, красота лугов, гром, и т. п. — все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть-ли не основным в окончательное сложение его души.

**

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского

это некоторый Синай, перед которым он благоговевает, чью оду “Бог” переводит на французский язык, к самому-же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатеринское, век “орлов” и прямолинейного грандиоза отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и созерцая заход солнца вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души — на западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса — к великому космосу сердца — уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду свою “Благоденствие России” он читал в Пансионе в 1797 году — ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне — из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие (“Зиять престали жерла медны”), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос это еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не “жерла” характерны,
а

С улыбкой ангельской, прелестной,
В венце, сплетенном из оливо,
Нисшел из горних стран эфира
Сын неба, животворный мир.

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того-же года, мотив и иной, совсем уж

духа интимного. По форме — первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это “Майское утро”.

Белорумяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черные ночи.

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки вьются, пчелы летят, все живет и все дышит (“да будет” всему Творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) — но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

Жизнь, друг мой, бездна
Слез и страданий.
Счастлив стократ,
Тот, кто достигнув
Мирного берега
Вечным спит сном.

В “Майском утре” этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изысканный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в Пансионе на Собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский “Стонет сизый голубочек” в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще

подражание, то уже показавшее в полу-ребенке легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. “Добродетель”, “К Тибуллу”, “К человеку” — стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, “вся наша жизнь лишь только миг”, “в тени ветвистых кипарисов брожу среди множества гробов”, “Тибулл, все под луною тленно”, и т. п. — но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

Тогда останутся нетленны
Одни лишь добрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

Любя добро и мудрость страстно
Стремясь друзьями миру быть,
Мы живы в самом гробе будем.

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

**
*

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов

издавали журнал “Приятное и полезное препровождение времени” — там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного Пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское (“Мысли у гробницы” появились с подписью: “Сочинил Благородного Унив. Пансиона воспитанник Вас. Ж.”) — все-же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В Пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское — там гость и брат дорогой для всей юной женской части населения. Девицы Юшковы и Вельяминовы обожали его — десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в Пансион, называя “Юпитером моего сердца”. Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодоушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де с. Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот-же Пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора Университета, Ивана Петровича Тургенева бывал Жуковский запросто, “по воскресеньям приходил читать переведенные украдкой по четыре пьесы вдруг” Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в Пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студен-

том Университета, он вел близкую дружбу. О Тургене-же-отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром — это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от диллетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот — на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг древа — так вместе и прожили, с пансионских времен.

Через тот-же Пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда-же и знакомство с Дмитриевым — тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем — главнейше в мастерстве стиха, а Карамзина “евангелистом” — этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1800 году Жуковский блестяще окончил Пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из Пансиона Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

П о э т.

Александра, Андрея Тургенева, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение — сразу в “архивные юноши”, Министерство Иностранных дел (тогда называлось: Иностранная Коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, сановничеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.

У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем-же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в “Кантору Соляных дел”, на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя Долгорукова, который имел уже о нем представление, как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользнула бесследно. Позже он заметил о ней кратко: “.... Я вошел в главную дурацкую Соляную кантору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802”. Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как

приготовление, даже плодотворна. “Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью”, — пишет ему Тургенев: “уединение, независимость, легкая служба... Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце — жар поэзии!”

Вне канцелярии — под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское Литературное Общество. Его столпы — Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские, и воспитанники Благородного Пансиона. Получился целый кружок — кроме главарей — братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем то, до времени, их юное прекраснородушие обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 г. г. устраивались пирушки сочленов Общества — собрания, их участникам запомнившиеся по хорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они

С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали.

Все это — в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи к чему то стремящейся,

ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском Обществе от Андрея Тургенева получает он первые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него доходившей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.

Здесь-же крепнет культ дружбы — тоже для него сила огромная.

Но все это кратко. Жизнь их разводит. Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайсаров за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили “с душою прямо геттингенской”. Там будут они насыщаться германской наукой и входить в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому-же неуютно в Москве, в Соляной Конторе, без Дружеского Литературного Общества, с одним князем Долгоруковым и его снисходительным поощрением. До какой то минуты все это терпится. Но для юноши “с демоном”, как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы — в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гёте, Лессинга, да много другого, французского еще вроде Флоріана, Жанлис — и в апреле 1802 года, по просыхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе — домой, в Мишенское. Что будет дальше неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии.

В Мишенском многое переменялось. Старого Афанасия Иваныча давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая “бабушка”. Девочки-же полу-племянницы (Юшковы, Вельяминовы), стали девушками, чувствительными, изящными. Как и матери их, они образованны и

начитаны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец — в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла-же сбежать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых “поселян”, захватив с собой Библию и Руссо: не надолго, разумеется).

Мишенское для “Базиля” не дурацкая Соляная Контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распущенность быта мишенского — стиль Афанасия Иваныча отошел. Никаких псарей, выпивок, походов. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим — тем и живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного Пансиона читает им вслух. Как и тогда новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базиля. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому нибудь Гремучему ключу, “сочиняет” стихи, есть даже “холм” его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.

Демон не зря уводил его из Конторы Соляных дел. Наступал час прорыва плотины — жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном Пансионе, оды на актах — это все еще полудетское. Роковое лишь начинается.

Оно состоит в том, что наконец силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно,

как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, создавшийся облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С "этого" начинается Жуковский, остающийся в литературе.

Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала своего чужое — элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила — подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в несвоем свое выразил.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою,
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный

Как будто и прежде, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное колыхание стихов и все оваяно меланхолической чистой и прекраснодушной. На деревенском кладбище спят "поселяне", люди безвестные, но может быть и неведомые гении, так и ушедшие не проявив себя — как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно бродящий и близ реки и близ ивы —

Он кроток сердцем был, чувствителен душою....

Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтатель-

ными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, “проливал слезы” — и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот “холм” — Парнасс.

Однажды Базиль и принес с Парнасса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве “Вестник Европы”, первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин — старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже “чувствительный”. Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился...

Тут Базиль не мог-бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девическая его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI-ой кн. “Вестника Европы” на обложке его розовой стояло: “Сельское кладбище”. Подпись полная — уже не “воспитанник Благородного Пансиона..”, а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.

Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства — признан, как-же не радоваться.

Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из “Сельского кладбища”, как образцовый.



Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева, из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским — Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот — вздох, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?

Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.

Но и собственная жизнь отозвалась. Нельзя думать, что уж так идиллически-ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но видимо, недостаточно. Как то с прохладцею, может быть и снисхождением. Ему же хотелось большего.

В дневнике его, 1805 г. записано: “Не имея своего семейства, в котором я-бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними вырощен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем”.

“Не был любим никем” — это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полулюбить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Буниными и оказалась связанной?

С матерью совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. “Самое общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи”.

Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной Конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет ему отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже сесть не может — вечное напоминанье о неправильности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя — ранило молодое самолюбие.

Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность, все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба — все так остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно

предощущает уж горести, бездны, величие бытия. Бытие-же само предлагает примеры грозных своих дел.

В грусти “Сельского кладбища” многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской — все как будто раскрыто перед ним в жизни — двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. (“Распотевши поел мороженого” и через четыре дня скончался).

“Дружба есть добродетель”, говорил Жуковский — опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснодушные молодые люди, до-пушкинские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 г. Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда, Кайсаров “обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал”. Он обнимает его и **целует руки**. Тот тоже плачет и целует Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец, Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург).

Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно сознавался им обоим, что к Андрею у него чувство выше, глубже, необыкновеннее... “Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством... ему подавал руку с особенным, приятным чувством”. Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильнее. Заражает энтузиазмом своим, любовью к литературе, воз-

вышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей — проживи он дольше — мог быть и в дальнейшем его “руководцем”.

И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург — как-же ответить на вечную разлуку?

О горе Жуковского знало, конечно, опять Мишенское, берега Оки, холм Парнасс и милые девушки. Поэзия наша узнала в стихотворении “На смерть Андрея Тургенева”.

В сем мире без тебя, с душою благ лишенной
Я буду странствовать как в чуждой стороне.

Без друга для него жизнь не жизнь. Встретятся они “во гробе”. Он ждет этой минуты, как счастья.

“Надежда сладкая, прелестно ожиданье!
С каким веселием я буду умирать!”

Жуковскому было всего двадцать лет, когда написались эти стихи, не лучшие у него. Последняя строка вызывает улыбку, но и сочувствие. Так-ли уж, правда, приятно умирать, даже для свидания с другом, юноше, ничего еще по настоящему не испытавшему? Когда Жуковский — еще “весь впереди”, с назначением узнать и славу, и любовь, и горе, и разлуку — писал простодушный свой стих, был юн, конечно, правдив — как поэт. А большего ведь нельзя и требовать. Жизненно это значения не имеет.

Кое что он мечтал сделать для памяти Андрея: издать его письма, которые всюду возил с собой, перечитывая в Белеве; хотел написать краткую

историю его жизни. Предлагал отцу посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду — он должен бы напоминать им “любезнейшего человека”, соединял-бы всех в общем чувстве. Хорошо-бы, если-бы они все в этот день думали и делали одно. (О церковном поминовении Андрея не упоминается. Религиозность “Базиля” была еще слишком туманной и от церкви далекой. То, что заупокойная литургия или даже панихида лучше соединяла-бы друзей в общем чувстве, ему не приходит в голову).

Думал и поставить Андрею памятник, на что Мерзляков, живший тогда в Москве, возражал, что лучше пусть будут они сами “могилами живому, вечно-живому духу нашего друга”.

В писании Жуковского незабвенность Андрея сохраняется — трогательная и преданная. Через шестнадцать лет — в стихотворении “Надгробие”. Через сорок пять, на закате его самого, в полных любви строках прозы: воспоминание о кроткой, непритворной и доброжелательной душе друга, об остроте его ума, в которой ничего не было ранящего, способного кого-нибудь обидеть в беседе, ибо соединялась она с “нежностью сердечною”.

Андрей был крепче, властней и сильнее, чем изображает его здесь Жуковский. Что то он дал ему от себя. Это не умаляет любви, сохранившейся до полувека.

**

“Вадим Новгородский” — первый опыт Жуковского в художественной прозе. Вещь неоконченная, напечатан в “Вестнике Европы” 1803 года, с простодушным примечанием Карамзина: “Моло-

дой автор этой пьесы и **мой приятель**, г. Жуковский, известен читателям “Вестника Европы” по Греевой элегии, им переведенной”

Не приходится скорбеть, что “Вадим” незакончен. Повесть — не мир Жуковского. Он лишен здесь главной своей прелести — воздушно-музыкального стиха. Остаются “чувствительность” и сладостность, вполне карамзинские. Карамзину должно было это нравиться. Сейчас отрывок интересен только как летопись души: введение к нему опять отзвук смерти Андрея. (“Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами — но тень твоя надо мной...” и т. д.).

Это все та-же, меланхолически-мечтательная линия жизни внутренней. Она сильна и бесспорна в юном Жуковском, но не одна в нем. Никак нельзя представлять его себе **только** томным певцом, героем-поэтом “Сельского кладбища”, скитающимся непрестанно у “светлых вод” и развесистых ив, оплакивая себя и погибших друзей. В нем была и другая сторона. Он любил жизненность, порядок, деятельность — но разумную, не даром плохо учился в детстве и хорошо в Благородном Пансионе. Он и в Мишенском в эти годы много работал, читал, учился, переводил, сам писал.

В Москве живет Мерзляков, приятель по Дружескому Литературному Обществу, старше его лет на пять, уже бакалавр и преподаватель в университете. Из мишенско-белевского уединения Жуковский с ним переписывается. Мерзляков трезвый, даже не без едкости, практический человек, в литературе склонный к классицизму, с романтизмом Жуковского не мирившийся, все-же принадлежавший к кругу Андрея Тургенева. Переписка живая, бодрая, есть в ней струйка связанная

и с Андреем, но вообще она очень жизненна: Мерзляков занят литературными делами Жуковского. Устраивает ему переводы, торгуется с издателями, зовет в Москву — “Вестник Европы” лишается Карамзина, надо работать там. Видно, что дела материальные весьма занимают Жуковского — иначе и быть не могло, хоть и в Мишенском, все-же он должен жить и имея свой заработок. Для него, разумеется, важно, даст-ли Зеленников за “Ильдигерду” пять рублей за лист, или больше. Правда, что занимаясь с учениками, Мерзляков представляет себе Жуковского под Белевом в виде Анакреона или Овидия, но Анакреону (на которого, кстати, Жуковский совсем похож не был) на что-то существовать надо и он трудится неустанно. Кроме Шписа и Коцебу, (“Мальчик у ручья”, вышедший в 1801 г.), над которыми работал и раньше, переводит — несколько позже — “Дон Кихота” в переделке Флориана. Это труд уж обширный. В 1804-1806 г. г. “Дон Кихот” вышел в шести небольших томах. Стихи романсов и песен в нем переданы очень легко и гармонично.

В это, как раз, время ездит он летом к Карамзину, гостит у него, подолгу в подмосковном Кунцеве со знаменитыми его дубами, лесами, папоротниками — перед Карамзиным благоговеет, это старший брат, друг и наставник. Мерзляков зовет его к себе в деревню, тоже гостить. Жуковский отговаривается неотложностью занятий. Но обещает все-таки приехать — тут и выясняется, что Жуковский строит себе в Белеве домик.

Это кажется неожиданным. Меланхолические певцы, будто-бы, думают только о том, с каким веселием станут они умирать. Оказывается, не совсем так. Они строят и дома.

Со стороны внешней постройка белевская де-

ло рук Марьи Григорьевны Буниной. Она настояла на том, в свое время, чтобы у “Васиньки” оказалась к совершеннолетию хоть небольшая, все-же **своя** сумма денег. Со стороны внутренней — очевидно, Жуковский хотел именно своего угла **вполне**, где-бы мать не была ключницей Буниных, а он был-бы полным хозяином. Поэтому и начал постройку в Белеве, на Казачьей улице. С берега Оки открывался там чудесный вид на реку, луга, окрестности. Все так **выбрано**, чтобы **нрави-лось** поэту. Но поэт, на время становясь строителем, вполне мог интересоваться и тем, сколько стоит какой нибудь тес на крышу, где дешевле достать стекло. Летом 1804 года дом еще не готов. “Нам не надо”, пишет ему Мерзляков, “твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши”. (Мерзляков так писал, но в конце-концов ни он, ни Воейков, у которого он жил тогда в Рязани, в белевскую “палатку” не приехали).

Жуковский-же, наблюдая за постройкой, продолжал и писать. Он еще совсем одинок, единственная любовь его — Муза. Ей он и отдается. Молод, но чувствует, что дело серьезное. 1804 год заканчивается большим стихотворением “К поэзии”:

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь,
О прелесть тихая, души очарованье,
Поэзия!.....”

По словесному одеянию предвозвещает кое что здесь Пушкина. По содержанию это гимн художеству вольному, независимому, вознесение поэта на ту-же высоту, куда и Пушкин его поста-

вит. Это отчасти программно. Вроде и обета поэтического.

Друзья небесных муз! пленимся-ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон
пустой,
Презревши роскоши утехи
Пойдем великих по следам.

Независимым поэт **обязан** быть, он возжигает сердца, славит героя, украшает бытие, громит “жестоких и развратных”. Награда — слава в потомстве. Дается-же эта слава и свобода бедностию. Оттого и презирает он “роскоши утехи”. Оттого в Белеве нужен ему не дворец, а домик.

С П р о т а с о в ы м и.

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможни в Кяхте — и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридцать земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видала связи отца с Сальхой и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибири совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой. Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещичьего, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет света и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность...

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских дебрях, близ Китая, русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни

своей была она религиозна церковно. Но, конечно, “религия души” в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась “Новая Элоиза” Это была главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника кяхтинской таможни. Знала ее чуть-ли не наизусть — рядом с ней и “Адель и Теодору” Жанлис. Видимо, много и в одиночестве думала, видела жизнь сестры незадачливую — и слагалась в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколько и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сделает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помирилась, Афанасий Иваныч жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетушки, называл на вы — “Екатерина Афанасьевна”. Она его — ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, Орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдалила ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд-ли ей был близок — Андрей Иваныч любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды

предводительские, открытый дом.. — так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, а в действительности разоряясь и залезая в долги — этого у предводителя могло и не быть. К несчастью для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Иваныча как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, разорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805), она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселям нарасло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьевна все приняла. Долги — так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать имения. Скоро осталось одно Муратово, Орловской губернии. Но там не было господского дома — жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но повидимому от своих она отошла сильно — да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшой дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем — религии, нравственности — выработался характер цельный, не без властности. Он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полу-монашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто

действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня — этого нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает — отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны — две три бочки с водой да какая-нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. “Порох надо убрать”, заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской полиции. “У меня нет людей”. “Как нет людей? А арестанты в остроге?”

Градоначальник не возражал, но видимо не оказался расторопным. Считал-ли он это ненужным, робел-ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине-же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

Молодой, “появившийся” поэт Жуковский был еще появлявшимся человеком-Жуковским. Он еще только слагался. Много было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших — вековечные вопросы мучают и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере — все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные проявились у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном Пансионе. Далее — переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. “Счастье — в вере в бессмертие”. Это для юноши-Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако, если “по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?”

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе... — это гораздо безумнее азиатской “капли”. Да, он знает: религия необходима. “Она нужнее и действительнее простой умственной философии ;но только хочу; ис-

пытаю и увижу". А пока что — колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, "какое блаженство должна давать прямая религия". Это в теории. А в действительности, с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, "о возвышенности чувств христианских". Чувства их и расходились "с правилами и словами". Так что закваска его христианская была кое чем и отравлена.

Но вот дружба цельна, трещин в ней никаких. В дружбе — стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко — Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится и работать дома не хочется — все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 г. М. Н. Свечиной — типа *amitié amoureuse* — не в счет). Никаких Лаис, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все-же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серь-

езно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснородушием и нежностью, желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. “Спокойная, невинная жизнь”. Занятия литературой. Любопытно еще в программе — и характерно для всего Жуковского: “удовольствие некоторых умеренных благодеяний” (этим будет заниматься всю жизнь, и даже “неумеренно”). Наконец, “счастье семьи, если она будет”.

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был — в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы. Это-же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви и женщине, и семье — возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходяще. А сердцу пора уже было изливаться.

**
*

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возростали в тишине и довольстве барства русского

(разорение Андрея Иваныча было не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с несомненно правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния — нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мирам сего — бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта — жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытее сестры, шаловливей. Везде где проносится — смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы — последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское времен старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно — учитель есть, совсем рядом, свой-же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт — уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уж готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его, Елизавета Дементьевна. Ему же удобнее было в Мишенском, из Мишенского он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть в шляпе широкополой, из под которой кольцами вьются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве

— там ждет строгая маменька и две тоненькие девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают-же и не скучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя-юноши, юноши-поэта, который на полах плаща своего приносил в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел, и души русской — чтобы приход этот не был праздником. Это не пальцы, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры — прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в ученические тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы — нечто от своего Благородного Пансиона внес в белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При том некоторая система (для “романтика” этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, реторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подросли) — сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гете, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Кребильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афа-

насевна. Частью это был надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушек, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал неблестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен и они им довольны, но о чем Машенька мечтала, оставаясь одна, ложась спать, или в звездную ночь глядя из окна девической своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел, в летнем сумраке Базиль со своею поэзией — этого мать не знала. Знала подушка, может быть немного сестра Саша. Но все это еще так неясно, и томно, и обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем то эта скромная Маша — полевая кашка — предваряла и Таню Ларину, и Лизу Калитину.

В том-же роде и чувства “Базилья”, чем дальше, тем больше. Вот он сам говорит — ему слово: “Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое то неизвестное чувство, какое то неясное желание! Можно-ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве”.

Вряд-ли записывая угадывал, что будет для него этот “ребенок”, с которым, когда вырастет она, мог-бы быть счастлив — о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уж думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как

мысли о ней будут оживлять его и “веселить” во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому — и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостью вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный — басни: Флориана, Лафонтена. Усердно переводит их, печатает в том-же “Вестнике Европы”, где появилось “Сельское Кладбище”. Это — скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию “Ручей”, нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того что в ней особенно высоко: дружбы. (“И где-же вы, друзья?..”) Это — мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приокского пейзажа, как бы и пропетого.

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!...

Тихая эта гармония проникает всю элегию — “как тихо веянье зефира по водам” — может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого дуэта Лизы с подругою в “Пиковой даме” взяты отсюда:

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает...

“Легкозвонность” Жуковского принимает здесь оттенок зеркально-прозрачный, отблеск солнца ве-

череющего лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность.

Не для “внешней” литературы еще один слой писания его, отныне долго он будет сопутствовать, потаённо, по разным записочкам и альбомам, явному ходу поэзии. Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16-ое января, альбом стихов. В середине главного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: “Памятник прямой дружбы”. И затем, на обороте листа, четверостишие:

Мой друг бесценный, будь спокойна!
Да будущего мрак тебя не устршит!
Душа твоя чиста! ты счастья достойна!
Тебя Всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковывавшей. Знала-ли об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд-ли могла-бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все же возжигание чувств в полуробенке. А оно продолжается. Того-же октября 1806 г. и другое стихотворение, ею-же вдохновленное (“Младенцем быть душою”...), полное того-же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче. (“М. при подарке книги”).

На новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг судьбе!”

Какое может быть уж тут сомнение? Маше ско-

ро пятнадцать. Своего полу-дядю-наставника знает она слишком хорошо — иначе, как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

«L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle» — любовь все движущая и его вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы знала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских краев предстояло удалиться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше оставаться. И уехал в Москву.

Д е я т е л ь .

В конце 1803 года Карамзин отошел от “Вестника Европы” — взялся за “Историю Государства Российского”. Журнал передали Панкратию Сумарокову. Тот вел его неудачно. Каченовский, несколько позже, также не преуспел. Стало ясно, что если не принять решительных мер, дело погибнет. Вспомнили о деревенском Жуковском. И обратились к нему, как к надежде литературы российской.

Шаг оказался правильным. Для Жуковского “Вестник Европы” был колыбелью. Равнодушным к нему он не мог быть. С другой стороны — для молодого поэта предложение лестно, возбуждает, дает выход и силам, и самолюбию. (А сил было достаточно).

В Москве поселился он, повидимому, вновь у Прокоповича-Антонского, в доме Шаблыкина на Вражскому переулку, в комнатке белого флигеля.

Началась полоса некоторого кипения — молодому выдвинувшемуся автору на первых порах всегда интересно быть редактором, кого-то отвлекать, создавать друзей, врагов, чувствовать, что его труд нужен, даже срочен, если иногда утомителен, то и направлен к цели высокой, настоящей. Есть и ответственность, и сознание власти.

Жуковский взялся горячо. Его призвали поднять журнал, он и подымал. В 1808 году “Вестник Европы” вышел уже за его подписью. В “Письме из уезда” он дает как бы программу, свое отношение к журналистике. Оно очень серьезно и даже возвышенно. Чтение должно быть интересным, но и что-то давать. Это не просто забава. Цель журнала **осведомлять** и питать. Надо печатать произведения поэзии, своей и чужеземной, повести и романы, но серьезные, а не “ужасные” или “забавные”. Философия, вопросы морали, осведомление о всем движении идей в мире, новейших открытиях (“действующих на благо общества” — о разрушительных не было еще речи). “Журналист описывает новейшие и самые важные случаи мира” — служит связью с самыми отдаленными краями земли. Но только не занимается политикой. Критики тоже не много: нужно творчество положительное, не разложение (вполне Жуковский, утвердитель, а не подкапыватель). И на самое звание писателя взгляд соответственный: “Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать за собой других — вот благородное назначение писателя”.

Непреренно стремиться самому к истинному и прекрасному! Задача роста, самовоспитания, самоусовершенствования. Путь в сущности религиозный. Зачаток линии Гоголя, не Пушкина.

1808-й год наполнен писанием и деятельностью. Это не угашает тяготений белевско-мишенских. Маша осталась в глуши. Жить ему можно в доме Шаблыкина, а глубокою и потаенною — не важнейшею-ли — частью души находиться в белевском домике Екатерины Афанасьевны. Расстояние лишь обостряет. Маша главенствует — те-

перь и проза Жуковского ею проникнута. Вот ей исполнилось пятнадцать лет. Во второй кн. “Вестника Европы”, вышедшей в это время, помещена повесть Жуковского “Три сестры”, с подзаголовком: “Видение Минваны”. Минване тоже пятнадцать лет. В день рождения своего она выходит на прогулку к реке и роще сентиментального пейзажа и там встречает трех таинственных дев, Вчера, Нынче, Завтра — от старшей, Вчера, выслушивает нежно-философические наставления, вполне отдающие молодым редактором “Вестника Европы”. А затем девы, показав ей смысл прошедшего, настоящего, будущего, так же мгновенно исчезают, как явились. В “Трех поясах” — она же Людмила, скромная и незаметная, но обаятельная — берет верх над сёстрами, она, цветочек “маткинадушка”, становится невестой киевского князя Святослава. Ей и стихи в этой повести:

Роза, весенний цвет...

(гордая роза опалена солнцем, а маткина душка процвела).

И “Марьяна Роща” с нежным певцом Усладом, грозным Рогдаем — и тут уже прямо Марией — внутренне устремлена к непрославленному городку Белеву (хотя действие происходит на берегу Москва-реки.) Повесть печальна. Рогдай убивает Марию из ревности, любовь ее и певца Услава перенесена в вечность, за гроб. В здешней жизни она не осуществилась.

Проза всех этих произведений не подымается над карамзинским “сладостным” повествованием. В литературе место ее малое. Это лишь история сердца.

Но стихи той-же полосы, тою-же любовью

прямо или косвенно вдохновленные, украшают вполне “Вестник Европы”. Сохраняются прочно и в словесности нашей. Кто кроме Жуковского мог написать такую “Песнь” (“Мой друг, хранитель ангел мой...”) — некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный, всю жизнь потом волновавший его (да и ее):

Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной.

Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

Любовь есть восторг, но и горечь: не зря он начинал под знаком меланхолии. Вот послание “К Нине”. Смерть — уносит-ли с собою и любовь? Все-ли мгновенно, погибает?

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?

В словах как бы и утешение:

О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вешает, для нежной любви.

— Но тон послания остро-возбужденный, взошедший на вечной печали расставания с любимой.

Мой друг, не страшися минуты конца...

.....
Я буду игрою небесные арфы
Последнюю муку твою усладить...

Смерть бродит около. От нее надо закрыться, ее преодолеть.

“К Филалету” (Послание Ал. Тургеневу) меланхолией напоено уже вполне. Есть в нем глухой намек на судьбу собственной любви (... “И невозвратное надежд уничтожень”.) Даже отдать жизнь свою за счастье близкого существа не дано: не говоря уже о счастливом завершении любви.

(Жуковский мог только еще мечтать о браке. Ничего выяснено не было, но висела угроза: родство. Маша — дочь его сводной сестры, полу-племянница. Может-ли стать женою? Благословит-ли на это мать?)

Все было еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве. Среди чтения рукописей и корректур, треволений и восторгов сердечных идет медленная внутренняя перестройка по части литературной. Основная и давняя его закваска — французская. На ней взошел он. Но уже Андрей Тургенев кое-что заронил: есть и германская литература. В 1806 г. просит Жуковский (Александра Тургенева) прислать “что-нибудь хорошее из немецкой философии”, “она больше возбуждает энтузиазм”. Гёте и Шиллера знает он довольно давно, но доходят они неторопливо, как и язык немецкий. (Первый перевод его из Шиллера “Тоска по милом” — 1807 г. — говорит о неполном владении языком).

В “Вестнике Европы” он дает все еще много места французской литературе. Печатает Шатобриана (путешествие в Грецию, Иерусалим), Жанлис, Шанфора. Как критик находится во власти Лагарпа, хотя уже и Лессинга знает. Но Германия выдвигается — для его-же собственной славы и

успехов. В 1808 г. напечатал он балладу “Людмила”, переделку бюргеровой “Леноры”: начало поэзии “чертей и ведьм” К его миру сердечному эта вещь отношения не имеет — писание чисто литературное. Бюргера ставит он еще в это время рядом с Шиллером. В гробовой и могильной балладе что то его задело, он воодушевился, применил все к славянскому миру, соответственно облику своему кое что и смягчил, во всяком случае написал остро и возбужденно. Можно так или иначе относиться к “Людмиле”, но считать ее вялой нельзя. В ней есть неприкрытая обветшалость, но под ветхими декорациями жива острота самого созидания. Написавший ее писал рьяно. И как с Жуковским часто случалось, менее удержавшееся в потомстве более шумело при жизни. “Людмила”, конечно, имела успех: ярко, эффектно, ночная скачка с женихом-мертвецом, церковь, петухи, вместо свадьбы могила и брачное ложе со скелетом — читателям нравилось. Но во всяком случае хорошо было то, что Жуковский, хоть и через Бюргера, несколько аляповатого, подходил к германской поэзии, где для души его нашлась истинная родина. Скоро появляются уж и Гёте, Шиллер, среди всего этого один лишь француз — Мильвуа с “Песнью араба над могилою коня”. Здесь блеснул Жуковский двустишием-рефреном:

“Сей друг, кого и ветер в полях не обгонял,
Он спит, на зыбкой одр песков пустынных пал...”

— шестистопный ямб летит молнией самого коня, мчащегося в пустыне (благодаря пэонам, слогам без ударения, убыстряющим ритм: радость поэтов русских в ямбе, чем и Жуковский и позже Пушкин так упивались).

Надо считать, что двухлетие это в Москве, когда он редактировал “Вестник Европы”, было для него успехом. Он много работал: поэт, новеллист, критик, статьи о театре, частью публицист и философ. Журнал на всем этом выиграл. Те, кто Жуковского из деревни вызвали, не ошиблись. Но если они думали, что так навсегда и засядет он за гранки, корректуры, чтение рукописей, исправление переводов и возню с типографией, то тут не угадали. Молодого поэта редакторство может увлечь, но лишь временно, новизной, знаком успеха, материальной удачей. Жуковский при всей и мечтательности своей и полёте всякое дело исполнял добросовестно. Литературное-же и по-давно. Как кормчий “Вестника” был на высоте. Но не вечно-же этим заниматься. Тем более, что тянуло в края белевские.

В 1810 году он Москву покидает — вновь для деревни.

Снова Протасовы.

Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась — решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.

Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготовил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой — вот, ему нравилось заниматься и такими делами.

Для себя-же купил небольшое именье рядом с Муратовым, некий поэтический *Tusculum*. Деньги — все то-же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок — любимые черты жизни для него. Много цветов. Перед окнами целые их террассы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке, “едва приметным склоном”. Мельница “смиренна” шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.

Мелькает над рекой
Веселая купальня

— он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Живо изображает швабского гуся, который домик свой

На острове, под ивой,
Меж дикою крапивой
Безпечно заложил.

Здесь поселяется Жуковский, один — вроде гуся этого, но “вблизи” кое копо. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей более не дает, но конечно, все с нею и связано, если-бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратове.

Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или праздна. В Тускулуме своем он непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую “Сборник лучших русских стихотворений”, занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать Наследника. Этим всем хочет восполнить образование — сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое по-любительски и продолжает. Берется за древность — латинский язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, “маткина-душка”, которую опекает сурово-сибирская мать — вот она и рождает в нем “звуки небесные”, подземно дает славу.

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство

Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы о тебе?
Если-б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима (стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).

Он-же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: "То была поэтическая жизнь и только тогда я был поэтом". Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомненья нет.

Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.

Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо — совсем по другому.

Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам — играет на виолончели, сам сочиняет немного. По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему то "Нина"), поет отличным голосом романсы — среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.

К ним ездил Жуковский за сорок верст, как домой. Там любили его. Там он меньше стеснялся

чем с Екатериной Афанасьевной в Муратове. Дом Плещеевых — пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосами сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр — сам писал и комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы, фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично читал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что то в нем чувствовалось приятное, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл “черная рожа”, “мой негр”), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге, при неравном богатстве: уравнивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский — надежда, чистая восходящая звезда России.

Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по русски, негр отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло — дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось).

В это время он написал “Громобоя”, романтическую поэму по повести Шписа “Двенадцать спящих дев”.

“Громобой”, как и “Людмила” — то писание Жуковского, которое теперь читается исторически. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие

в грамматику примерами, в общем-же наивно, простодушно и полно ужасов не ужасающих.

Однако, чрез “Людмилу” и чрез “Громобоя” должен он был пройти. Если-бы они пропали, как шуточные стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался-бы прорыв.

К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренне: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В “Жалобе” это просто стон по “маткиной душке”).

Именно теперь некоторый кинжал пронзает ему сердце.

Маше семнадцать лет. Ему самому двадцать семь. Между ними уже все ясно — в светлом и высоком духе. Дело идет к соединению жизней. Однако, не может быть речи о браке, пока не благословит мать.

Повидимому, первое объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной произошло в 1810 году. Ссылаясь на близкое родство, она заявила, что брак невозможен. В благословении отказала ему начисто.

**
*

Год рождения Маши (1793) был годом Вандеи, разгара французской революции. Ее раннее детство, как и юность Жуковского, проходили в гигантской Скифии, еще сумрачно помалкивавшей, защищенной лесами, равнинами, морозами. Для европейского человека это страна царя и рабов. Запад кипел уже. Громы, паденья царств, молнии Наполеона пронзали его. Россия все еще отсиживалась дома. Выпустила, правда, и свою молнию, Суворова. Позже тоже посылала свои войска на запад, медленно, на чужой земле начала проливать кровь своих сынов — и неудачно.

Гроза нарастала. Жизнь-же в России шла по-прежнему. В Белеве, в Москве и в Муратове Жуковский писал стихи, Маша училась, молилась, мечтала о любви и наконец полюбила, и весь тон, вес дух и цвет жизней их, мирных и поэтических, так далек был от надвигавшихся событий! Да и понимали-ли они в них что-нибудь? Маша читала и Гёте, и Шиллера, и многое другое, о Наполеоне слышала, конечно, как о чуде, но вот именно в дали неизмеримой — в другом мире. Какое он имел отношение к ее жизни?

Жуковский был более ответствен: писатель, одно время и редактор. Но и он в этих делах не много смыслил.

“Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел”. Ивику надлежало петь безхитростные песни, возвеличивая любимую, меланхолически мечтая и тоскуя. Он так и поступал, однако и он, в 1806 г., когда Россия воевала еще на чужой земле — написал “Песнь барда”, отклик на современность.

Но это еще все далеко, глухо. “Нас не касается” — Эйлау, Фридланд, очень тягостно и кроваво, но где-то в Восточной Пруссии, там-же Тильзит, два молодых императора о чем-то сговариваются, празднуют, заключают мир, навсегда маленький городок прославивший, но никакого мира в мир не принесший.

В то самое время, когда Жуковский помогал Екатерине Афанасьевне строить в Муратове дом, когда писал “Громобоя”, просил руки Маши — тут-то для родины назревало... — В 1811 году людям, следившим за политикой, было уже ясно, что война неизбежна. И война страшная. За Наполеоном Европа, он действительно властелин, это борьба за Россию. Но Жуковский, даже когда зани-

мался журналом, политики сторонился. Теперь, в Тускулуме, и того менее. 1811 год шел для него под знаком неудачи объяснения с Екатериной Афанасьевной — и еще печаль постигла его в месяце мае. Закончилась давняя, путаная, греховная — в общем-же приведшая не ко греху история с его собственным появлением на свет. Скончалась Марья Григорьевна Бунина, его воспитательница и “просветительница”, а чрез двенадцать дней и мать настоящая, Елизавета Дементьевна, некогда девочка Сальха из Бендер. Странно скрестились эти жизни. Началось с горя, прошло чрез рождение светлого-дитяти, через примирение “соперниц”, из которых одна — барыня, а другая рабыня. Кончилось тем, что рабыня-соперница как бы не смогла даже пережить смерти барыни — привязанность взаимная существовала между ними уже давно. 12 мая 1811 года скончалась Марья Григорьевна, 25 мая того-же года Елизавета Дементьевна.

Эти уходы по разному отзывались в Жуковском. Марья Григорьевна уже легенда, миф детства, величественное и далекое, с жизнью его теперешней мало совместимое. Нечто и благосклонное, но связанное с тяжелым в самом основном. Существо, к которому отчасти питал он благодарность, отчасти боялся его, отчасти пред ним благоговел. Любил-ли просто, по человечески?

В матери настоящей ничего жуткого, никакого смущения перед высшим, начальственным. Но и любви недостаточно — надо бы больше. Он и сам угрызался, а любовь не являлась. Можно быть и почтительным, и послушным, но... — “Я люблю ее гораздо больше заочно, чем вблизи”. Это его томило. Чувств к **родителям** по настоящему он не знал, ни к матери, ни (тем менее) к отцу. Прямо

высказывал горечь, завидовал тем, в чьей жизни родители что-то значили.

Всетаки, с этими женщинами уходило нечто от детского и дорогого.

Жил-же он настоящим. Настоящее это Муратово, Маша и Александра, сестра ее, да и сама Екатерина Афанасьевна. К ним прирастал он кровню.

Основное светило Маша. Но как раз к этому времени из младенчества переходит к юности и младшая сестра, Александра, та, что наполняла дом шутками и проказами, брила кошкам усы, хохотала, играла, пела.

Маша *Penserosa*, Саша *Allegro*, так он их называет. *Allegro* он очень любит, совсем по другому, чем Машу, она будет милым домашним гением его, светлым видением, оживляющим все вокруг. Будет ему верным другом, поклонницей и переписчицей.

Разумеется, все о томлениях его с Машей ей известно. Это союзная и родная душа. Блеск жизни ее только еще начинается, и вот входит она уже в русскую литературу — более даже открыто, чем Маша. (Ее незачем скрывать). Ей посвящен был "Громобой" — с особым двенадцатистишием. Теперь появилась "Светлана". Это гораздо больше. "Светлагу" он тоже ей посвящает, но тут связь с нею гораздо глубже, она сама как бы Светлана, баллада ею вдохновлена. Саша Протасова живет в хорях этих, ее свежесть, ясность, жизнерадостность брызжет из каждого стиха, несмотря на "жуткие" сцены с завыванием метели, с женихом-мертвецом.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,

За ворота башмачек
Сняв с ноги бросали.

Во всем легкий мороз, крепость, даже суховатость, редкая у Жуковского, и непобедимо-мажорный тон. Страшное только приснилось. Это не трагедия, как у Людмилы, а тяжкий сон — пред зеркалом, в гаданьи видит его Светлана, мучась в разлуке с женихом, а с пробуждением ее, в том же русском святочном морозе, с колокольчиком, сквозь туман и блеск солнца на снегу в санках подкатывает настоящий жених: вернул.

Ты, моя Светлана —
Будь Создатель ей покров!

Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Точно бы светлая стихия Светланы оказалась тут сильнее самого Жуковского. Он ей поддался и написал один из ранних шедевров своих, весь проникнутый свежестию ключа. “Светлана” — удача художника. Остро и сдержано, немногословно и — поэзия, порождено вдохновением и одето ризами неветшающими — чего большего может желать поэт? Самой Саше Протасовой дано как бы новое крещение, в литературе... С этого времени входит она в жизнь Светланю: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и светосного имени, как бы еще ее возносящего.

А времена были грозны. Ночью комета блистала хвостом своим, “зверь из бездны”, над которым не один Пьер Безухов ломал голову, собирал рать многоплеменную, на самых уже грани-

цах России. Александр молчал. В молчании этом нельзя еще было разгадать будущего упорства, желания идти до конца. Гений действия, победы жёг Наполеона. Гений охранения, сознания великих тайных сил страны владел Александром.

В начале лета 1812 года французские войска перешли Неман. Война началась.

Первое время она заключалась просто в движении войск на восток. Витебск в июле — решающая минута. Наполеон остановился. Мог-бы и зимовать, все наладить с продовольствием армии, ее устройством, ждать весны для похода на Москву. Все так и советовали. Поколебавшись, он двинулся дальше. 5 августа был под Смоленском, с боем взял его. Можно думать, что Россия поражена страхом нашествия, горестью и тревогой. Несомненно, все, что близко было от смоленской дороги старалось бежать. Но немного в сторону — та же глушь и ширь, годами налаженное мирное житие. Муратово Екатерины Афанасьевны в Болховском уезде Орловской губернии, Тускулум Жуковского, Чернь Плещеевых под ударами не находились — это южнее, в стороне, все-таки от Смоленска не более двухсот верст. Тут все по-прежнему. Война войной, жизнь жизнью. 3-го августа день рождения Анны Ивановны Плещеевой. По тем временам (и тем движениям сведений), в Черни, наверно, не знали, что Смоленск уже в опасности. Война далеко, Бог с ней. Пока что — семейный праздник с угощениями, театром, танцами, чтением. Все муратовские барышни тут, другие соседи, соседки, Жуковский из Тускулума своего.

Торжество проходило блестяще. В августовской ночи летели падающие звезды. “Негр” распоряжался, успевал всюду. Красавица-рожденница

сияла. Рядом с фейерверком, в ее честь возносившимся, поэт устроил и свой собственный, к ней не имевший отношения: в этот день нашел подходящим прочесть свое стихотворение “Пловец” — Плещеев написал к нему музыку, Жуковский собственно “пел”.

Буря занесла пловца “в океан неисходимый”. Мрак, бездна, ветры... Челн погибает. Пловец в отчаянии, совсем пал духом. Но “невидимой рукою, сквозь ревушие валы “Провидение ведет его и не дает погибнуть. Мрак вдруг исчезает и

Вижу райскую обитель,
В ней трех ангелов с небес...

Они его и спасают. Он-же ничего не хочет для себя.

Дай все блага им вкусить
Пусть им радость, мне — страданье,
Но... не дай их пережить.

Что Маша была для него ангелом самоочевидно. Светлана-Александра легким гением — понятно. Но Екатерина Афанасьевна? — Он ее очень почитал, частию души и любил, все-же натяжка героична. Наверно, хотел тронуть, расположить. Действие получилось обратное. Екатерина Афанасьевна просто разгневалась — нет, это уж немножко слишком! Быть влюбленным в близкую родственницу это его личное дело. Но на людях и прозрачно выставлять все, подчеркивать, вовлекать девушку в неосуществимые фантазии...

Бедный пловец. Объяснение вышло бурным. Известий о нем нет, но на другой день Жуковский

должен был оставить Муратово: она просто изгоняла его.

Надо думать, что еще ранее, в июле, когда обнародован был манифест о создании новых военных сил, Жуковский уже собирался на войну. Возможно, кому-нибудь в Москву и писал. Теперь же, во всяком случае, мгновенно собрался и вылетел из своего Тускулума — время самое подходящее.

12 августа он уже поручик Московского ополчения. Враг занял Вязму и наступает на Можайск.

А в Орловской губернии Екатерина Афанасьевна, прежде чем отбыть с детьми в Муратово, объявила девицам Юшковым, племянницам своим, о любви Жуковского к Маше, его намерениях и о своем отказе.

Про Машу, конечно, они давно знали. “Базиль” обожали, все горой за него стояли и на тетку обрушились. Тотчас рассказали об этом Плещеевым. (До Маши дошло все это позже, чрез тех же Плещеевых).

А Жуковский со своим ополчением выступил навстречу неприятелю. Дошли до самого Бородина.

Миловидный поручик с прекрасными мечтательными глазами провел ночь 25 августа лицом к лицу с Наполеоном — в кустах, в резерве армии Кутузова. Ночь эта, перед сражением Бородинским, была тиха, довольно холодна, небо в крупных звездах. Сначала раздавались единичные выстрелы (звук — точно рубят в лесу деревья), потом и это утихло. Заснули все, тишина неизмеримая. Только небо да звезды. Спаяли поручик, и если нет, то о чем думал?

Утром грянула пушка, начался бой. Ополченцы стояли на левом фланге, неприятель напирал

здесь всемерно, добиваясь прорыва. Фланг медленно гнулся в течение дня, но известно упорство войск русских под Бородиным: ни прорвать фронт, ни обойти французам не удалось. Ополченский резерв медленно отодвигали. В бой не вводили. Артиллерийскому же обстрелу он подвергся — снаряды падали в его расположении. Были потери.

Жуковскому участь князя Андрея не назначалась—не ходил он взад вперед, ошмурыгивая сухую полынь, дожидаясь роковой бомбы, волчком перед ним взвывшей. Но весь грохот боя слышал, облака дыма, к вечеру свившиеся в сплошную тучу, видел. Страду русского солдата пережил. Не так, разумеется, как толстовские герои. Зло и трагедии, малые или мировые — не его мир. Это от него отскакивало, никак не проникало, как и он в них не входил. Наполеон мог укладывать тысячи людей, ясности Жуковского не затмевал.

Ясность страшного дня затмилась ночью. Кончилось все в дичью. Но с этой ночи Жуковский со своими ополченцами и остатками армии неуклонно откатывался, отступая на Москву. Наполеон вскоре ее занял. А потом наступило затишье. Наполеон сидел в Москве, русская армия множилась и укреплялась. Жуковский успел слетать на несколько дней в родные края.

Очевидно, не так уж велик был разрыв с Екатериной Афанасьевной. Слишком эта семья своя. Слишком он врос в нее, чтобы из за “Пловца” разойтись. Все таки ему было предложено смирение — являлся он не победителем. Нелегко было, но явился: ибо здесь для него жизнь. И только здесь.

А Наполеон выступил из Москвы в обратный путь. Напирая, тесня, мучая двинулись за ним,

так-же неотвратимо, как отступали, русские преследующие войска. Жуковский укатил в армию — опять объяснения с Машей остались сзади. В Муратове Маша тосковала, юн в раннем осеннем холоду шел за Наполеоном. На одном переходе случайная встреча: Андрей Кайсаров, времена Университетского Пансиона, Дружеского Общества... — встреча имела последствия. Через брата своего, полковника Паисия Кайсарова, Андрей устроил его в штаб Кутузова.

У генерала Скобелева, квартиргера Кутузова, Жуковский писал приказы по войскам. Скобелев срывал даже успех его трудами, Кутузову нравилось красноречие скобелевских приказов и реляций. А тот не стеснялся Жуковским пользоваться. Так было и под Вязьмой, и под Красным.

Но это все еще не литература. Военная литература вторглась в этого неподходящего человека незадолго до Тарутина.

Жуковский написал теперь не канцелярскую бумагу возвышенного стиля, а произведение поэтическое, войной вдохновленное, вроде поэмы: "Певец в стане русских воинов".

Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, всетаки от Державина очень далеко). Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередуя четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. "Хор воинов" подхватывает последнее четверостишие, как бы "тремит славу" героям. Есть места блестящие. О родине сказано "навсегда", и с детства запало всем ("Страна, где

мы впервые вкусили сладость бытия...”), есть строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и неидущие к мечтательному поэту. Но нежное утро — вполне Жуковский, как и строка: “Есть жизнь и за могилой”.

В целом-же это произведение “на случай”. Нет самого в поэзии важного: безцельности. Тут все имеет цель, все “нужно”. Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отощала минута, дело отгремело и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.

“Певец в стане” дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша маткина-душка. Белевская Лаура! С ней он безвестно изнывал-бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего **нужное** в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом “Певце в стане русских воинов”.

Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи Императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала-бы иметь их написанными рукою автора — Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение “Мой слабый дар царица одобряет...”

В конце 1812 г. “Певец” появляется в “Вестнике Европы”, в январе 1813 г. выходит отдельным изданием, а в мае того-же года, по желанию Императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России).

И все-таки военная поэзия, да и вообще “военное” — случайность в жизни Жуковского.

Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном Пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. ("Знакомый с лирными струнами, напярч он лука не умел".) И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав "Певца" и (после Красного) "Войню победителей", Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось горячкой. Было-ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампании во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.

Его отпустили с миром, в январе он возвратился уже домой.

**
*

Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых — да теперь и сам юн не скрывал. "Пловец", внезапный отъезд в армию.. — вряд-ли и тогда она не угадала. Теперь все было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год — даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.

Жуковский чувствовал себя остро-возбужденно и непрочно. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря

на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий славный Базиль, с детства в доме произраставший полу-брат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).

Ее взгляд был ясен: она знает, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но Церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.

Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, несправедливым. Казалось формализмом — тем в быту христиан, что он праведно не принимал. Он близок к счастью, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа: ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.

Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходил 1813-й год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: “Тургеневу” (“Друг, отчего печален голос твой”...) — полно меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, дорогих друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем — это послание есть прямая лептопись души. “Ивиковы журавли” более объективны. Все-таки в самом Ивике, “скромном друге богов” есть нечто знакомое. В его чистом, про-

стодушии, в смиренной закланности узнается весьма белёвское.

Муратовский поэт безответен и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного Пансиона, Дружеского Общества), он вступает в переписку с прежним приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они

**Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали...**

Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял себе его совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял — в конце 1813 г. появился в Муратове.

Воейков и Жуковский.

Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им-же самим приманенный. Воейков и писал, и воевал, и выйдя в отставку путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной — двуснастный. Мог оскорблять — и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.

Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэта его не понимал и вероятно в душе над ним зло смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.

Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело — особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрой, младшей — Светланой Жуковского. Ей семнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бредет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, с товарищем своим у них гостящего.

Новый год очень весело встретили. В полночь

поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною — свой же дворовый изображал его. Одно лицо у него было старое, другое молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадцатый
Весельем небогатый
И очень старый год.

Потом повернулся. Теперь лицо его юно. Он продолжает:

А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча. Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть... Неизвестно, потекла-ли свеча. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаться шампанским. Янус, на кухне, освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.

Воейков записал: "18 1/1 14 г. встретил Орловской губернии в селе Муратове очень приятно в доме Катерины Афанасьевны Протасовой". Перечислив присутствовавших, добавляет: "Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но... *Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?* и я иногда задумывался, даже грустил".

Таково время. Искренно или неискренно, без

сентиментализма нельзя. Отчасти-же он и играл одинокого, бесприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать — хозяйку и владычицу. Жуковский-же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому будет Воейков содействовать в сердечных его делах — собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.

Но это еще не сегодня, не завтра. Пока-же что широкая и беззаботная жизнь помещицы продолжается.

16 января Плещеевы отвечают праздником у себя — день рождения Анны Ивановны. Негр постарался. В Черни размеры всего оказались еще больше.

Утром отстояли обедню. Затем отправились в рощу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут-же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску *à la fourchette*, стоя, и по преимуществу чокаясь). Прогулка по огромному парку — там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзажами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камер-обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амуры.

Днем вероятно карты, для молодежи *petits jeux*, вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в Филоктете Софокла, а затем Негр сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной ("К Нине" и из-

вестное послание Жуковского). В ее честь огненные буквы N сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы эти горят в честь Наполеона... — Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.

Воейков во всем этом принимал участие — в играх, шарадах, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16-м января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): “Двойной праздник *fête des rois* и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А. И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все кроме меня подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу. Горациянский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!”

Среди этих изящных дурачеств и горациянских ужинов вряд-ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шуточные стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось — время-же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.

31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский-же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину — за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.

Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруду был Юнгов остров, урна посвященная Фенелону и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг, доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тур-

генева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеневых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному решил совершить паломничество.

В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. **“Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда”.** “Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы”. Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастье — и все это чрез Машу. **“Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастья!”**

Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полу-символ, не Дева-ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?

Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии — формальная сторона ее неблизка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.

В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском — среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте фев-

ральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.

Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца, к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Катерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.

Смысл ее во всяком случае велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред лицом Бога, все тогдашнее высоко-духовное настроение его не могло пройти даром. ("Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: "Ты готовишь мне счастье, Тебя достойное, и я клунусь сохранить его, как залог милости, и не унижиться, чтобы не потерять на него право").

Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким и вошел он впоследствии в Пантеон наш.

**

Дело, из за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел чрез Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру русской литературы — и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство... — сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастью. Вот он пишет ему в Петербург: "Твои дела идут хорошо: говорят о тебе,

как о своем, списывают твои стихи в несколько рук”.

“Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство? Это имело-бы еще смысл, если-б надежда на брак рухнула. Но как-раз все наоборот. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника, когда ждет любовь?”

Жуковский иногда и сам бывал жизнен, умел считать деньги, заботиться о заработке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснотушия. Воейкова называет “брат” (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве-сожитии с тем-же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) — будут вместе трудиться, давать себе и другим счастье в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья — Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. “Министрами просвещения в нашей республике пусть будет Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет”.

У Воейкова, жениха и полу-профессора, будущего сочинителя “Дома сумасшедших”, такие письма вряд-ли вызывали благодушную усмешку. “Полоумный Жуковский!” Но вот он, Воейков, вовсе не такой, отлично знает, чего хочет, и своего добивается.

Александр Тургенев был в это время уже крупным чиновником. Вместе с Кавелиным кафедру Воейкову устроил. В Муратове воейковские дела тоже устраивались.

Полюбила-ли его Светлана? Трудно себе это представить. И на нее, и на Машу Воейков по первому же разу впечатление произвел неважное. Но они обе жизненно еще дети. Близко знали всего

лишь одного Базиля. Не по нем-ли и вообще о людях судили? А Воейков друг Базиля. Разве-же у Базиля может быть плохой друг? Маменька тоже к нему благоволит...

Воейков распустил хвост павлиний, писал восторженные стишки, изображал себя скитальцем и натурой загадочной, жаждущей, однако, берега тихого и светлого. Известное впечатление произвести мог. Несмотря на уродство свое, Светлану заговаривал.

Главное же, заговаривал Катерину Афанасьевну. Тут действовал сразу по нескольким линиям. Есть известие, что изобразил себя владельцем двух тысяч душ, доставшихся ему, якобы, от брата, раненого под Лейпцигом и скончавшегося. Богат, но несчастен, ибо одинок. И вот, наконец, встретил Ангелов, они вернули его к жизни, и т. п. При всем этом — лесть и поклонение безмерные. Торжественные послания Екатерине Афанасьевне, тоже какое-то одурманивание ее, даже влияние умственное: нечто от разлагающего своего духа сумел он в нее вселить. (Выросшая в церковной строгости Екатерина Афанасьевна отказывается, например, под его влиянием, соблюдать посты). — А для Воейкова власть — блаженство. Многим он обделен. Ни славы, ни таланта, ни обаятельности Жуковского у него нет — пусть зато безраздельное владычество, хотя-бы в одной семье.

Из отлучки своей юн возвращается победоносно. Кафедру получил. Правда, это и осложняет: переезд всех в Дерпт. Тем не менее, он объявлен женихом — и тут совсем уже ясным оказывается, что Жуковский в виде жениха Маши никак ему не интересен, скорей вреден. Он хочет царить в этой семье один, ничего ни с кем не деля.

Теперь видит Жуковский резкую разницу от

ношения к нему и Воейкову. С ним холодно, за Воейковым всячески ухаживают. Он жених. Свадьба назначена на июль — о чем Жуковский узнает стороной. Все это томит, волнует.

В конце апреля он вновь объясняется с Екатериной Афанасьевной о браке, бурно и неудачно. “Она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родной ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата...”

Она отказала ему начисто. Замечательна притом двойственность положения. Жуковский считает Екатерину Афанасьевну формалисткой, законницей, не желающей уступить иоты, и сам находится на формальной почве. “Закон” не знает, что он сын Бунина, поэтому жениться можно — сам-же он это знает (“Я сын ее отца”).

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны? Одно-ли сознание церковное ею руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии, мужа с именьями, крепостными? Жуковский, конечно, тяжело на нее негодовал. Он был чист, чистою душою рвался к счастью — своему и Машину. Счастье это отнимали.

От Жуковского идет линия осуждения Екатерины Афанасьевны. Сочувствие на его стороне, бесспорно. Тяжелого чувства к ней преодолеть нельзя. Все-же дело со сватовством этим сложно, обоюдоостро, и “по своему” в чем-то была права и Екатерина Афанасьевна (на обман священника не шла. Может быть, следовало хлопотать в Синоде, разрешили-бы? Но этого она и не пробовала сделать!). Во всяком случае, ей самой все это нелегко обходилось. “Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки”.

Так писала она верному другу Жуковского, той недавно овдовевшей Авдотье Петровне Киреевской, которая еще девочкой, Дуней Юшковой, называла Базиля “Юпитером моего сердца”. Эта юная, пламенная женщина — портрет показывает ее задорную, очаровательную головку с полу-мужской прической — она-то и умоляла Екатерину Афанасьевну согласиться на брак. Предлагала, если тут есть грех, взять его на себя — она пойдет в монастырь отмаливать.

Но характер Екатерины Афанасьевны упорен, чтобы не сказать упрям. Суровая юность сибирская, властное управление детьми во вдовстве — ни “Базиль”, ни Дуня Киреевская, ни другие племянницы не могли ее сломить. Намеренье насчет монастыря с ужасом она отвергает, но с позиции своей не сдвигается.

Маша верна себе: матери о Базиле все сказала, но воли своей нет. Как маменька скажет, так пусть и будет, и все так должно произойти, чтоб не нарушить маменькина спокойствия. Можно подумать, что Маша вообще тут непричем. Она может плакать, сохнуть — все это втайне и неважно: только бы маменька была довольна.

Жуковский-же после объяснения вновь из Муратова изгнан — пока не вернется Воейков. Весь май он скитается где-то вблизи — в Черни у Плещеевых, в Долбине у Юшковых. Горек для него этот май. То кажется ему, что еще можно бороться: Лопухин напишет, Владыка Досифей Орловский разрешит: его хорошо знает друг Тургенев. Наконец, Воейков возвратится, повлияет...

А потом другое: нет, надо все принять, смириться. От своего счастья отречься, только о Маше думать, ее спокойствию, остаться братом-сестрой с любовью надзвездной. “Разве мы с Ма-

шей не на одной земле и не под одним отеческим правлением?” Бог-то их всех выше, Он и устроит, во славу любви-дружбы.

До нас дошли тетрадки, в 16-ю долю листа, в синей обложке: письма-дневники Жуковского и Маши — безмолвный, трогательно-нежный диалог. 21 июня передает он ей свой дневник за май. В нем ничего не записано, а письмо объясняет, почему: слишком трудно было преодолеть мрак. “Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости — и вот все. Можно-ли было об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо”.

Но вот теперь, в Муратове, в конце июня, с ним происходит странное. Он пишет письмо Марии Николаевне Свечиной (тоже родственнице, но не стороннице брака). Начало письма мрачное, “и мысли и чувства были черные” Вдруг останавливается... “будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменялся”. В некой восторженности он встает, не докончив письма, идет в залу искать платка. Там встречает Машу. Она подает ему изломанное кольцо. Он дает ей свое. Все как-бы в полусне, сомнамбулически. Но нечто случилось, оба понимают, что произошло важнейшее: поменялись кольцами, обручились на новое, возвышенно-прекрасное, но в земном плане безнадежное. Кольцо даже не им дано ей, и не ею ему. Промысел ведет их высшим — пусть сейчас и горестным путем.



В конце июня, начале июля скитается Жуковский близ Орла. Едет вслед за Протасовыми, останавливается там-же, где только что они ночевали. Маша ведет его за собой.

В Куликовке под Орлом, только печалию его и отмеченною, на постоялом дворе сидел он на том-же месте, “где ты сидела, мой милый друг, и во-ображал тебя”. Хозяйка знала, что одна из бары-шень той гспожи, что останавливалась у ней, вы-ходит замуж. Жуковский уверил ее, (да на мгно-вение и сам, может, поверил), что жених именно он, но не младшей, а старшей дочери.

“Вчера, подъезжая ко Мценску, я смотрел на рошу, которая растет близ дороги; погода была тихая и роша была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца”. Вот рамка горя. Оно прини-мает оттенок просветленно-мечтательный. Оно, всетаки, не безысходно, ибо за ним возвышение души, ее возношение все той-же Маше. Все для нее. Для ее счастья и радости должен он жить — это и укрепляет. О, разумеется, не всегда. Путь еще долог, труден.

Мир, тишину русского вечера деревенского он вкусил в каких то Сорочьих Кустах. В Разбе-гаевке не остановился, видел, однако, там двор, “где ночевала Маша с матерью”.

“Около меня бегают три забавных мальчика, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. На-добно было видеть их гордость, когда они торго-вались, и смирение, когда торг не состоялся”. Но, конечно, он их и утешил: пятак дал, а землянику вернул, между ними-же и разделил. (Очень ему подходящи эти дети. Только ему, как взрослому, смиряться приходится не из за гроша и пятака).

В Губкине лежит в сарае, в саях на сене. Чи-тает Виланда «Diogenes von Sinopre» “и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу — даже и срисовал его”.

Далее философствует. Провидение “распола-

гает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что-бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ **свыше** приобрести **лучшее**. Надобно только верить”.

Побывал он в летнем своем блуждании и в Орле, и у Павла Протасова, дяди **муратовских** барышень (тот его подбодрял, в деле брака сочувствовал).

В конце-концов, 9-го июня Жуковский оказался в Муратове.

Что Екатерина Афанасьевна приветствовала брак Воейкова со Светланой еще понятно. Гораздо удивительней — Маша и Жуковский одобряли его. Оба искренно, глубоко любили Светлану, оба толкали ее на несчастный шаг. Оба поняли поздно и каялись в пустой след. У обоих **ошибка**, по-видимому, шла от неверной оценки **Воейкова** — вина Жуковского больше. Со своим голубым туманом в глазах он и накануне свадьбы мог еще обнимать Воейкова, целовать его, плакать, давать “слово в братстве”. Братство! Все тургеневско-кайсаровское еще владело им, сладостные слова мешали видеть. **Что-же** сказать о Маше, которая вся была в возвышенных книгах, религии, смиренности и на все смотрела глазами Базиля?

Из-за беднежья свадьбу не раз откладывали. Наконец, Жуковский продал именьице свое и все отдал Светлане в приданое — денег не пожалел (жизнь его вся под этим знаком: ему Бог посылает сколько надо и он раздает тоже сколько надо).

14 июля Светлану с Воейковым обвенчали. Жуковский присутствовал, конечно. В церкви

вдруг грусть напала на него. Защемило в душе. Не уголок-ли будущего проглянул сквозь торжество таинства? “Мне казалось сомнительным ее счастье, сердце мое было стеснено и никогда так не поразили меня слова “Отче наш” и вся эта молитва”.

Для него самого эта свадьба тоже была переломом. К сердечным его делам будто и не имела отношения, все-же нечто определила. В Муратове он не остался. Уехал к Авдотье Киреевской, в чудное Долбино, Екатерине-же Афанасьевне написал длинное и возвышенное письмо. В нем закрепляется новое его положение: теперь разговора о браке нет. Привязанность к Маше он сохранит навсегда. Счастья быть для него не может, жить надо и без счастья. Он так и надеется. Маша, как была ему другом, так и останется и навсегда будет его благодетельницей, как и была. С Екатериной Афанасьевной он, может быть, скоро увидится. Но с семьей ее и Муратовым, “моим настоящим отечеством”, расстанется навсегда.

Осень проводит в Долбине, под Лихвином. Там дети Киреевской, там над бюро у него висит “милый ангел”, а в “шифоньере” Машины волосы, рядом-же хозяйкина печатка с вырезанным на ней четверолистником. Тут он — хоть и путник сейчас, как всегда в жизни — но поэт и дому истинный друг. Авдотья Киреевская тоже его не выдаст.

Долбина этого никто-бы не знал, еслиб не тут изживал горести сердца своего Жуковский.

Здесь он много писал. Золотая, одинокая осень в старинном доме, с уютом, любовью семьи, прогулками по пустующим полям, лесам звонким, отдающим охотничий рог и гон гончих... — чем не поэзия и благодать? Одного нет, очень важного: счастья. Маша вдали.

Но не зря вел он ее годами в духе религии и искусства. Теперь, в горький для нее час, она свое горе принимает с великим смирением, а его тихо, упорно толкает к творчеству. Да, он поэт. Пусть идет горним путем. «Tu me prometteras de t'occuper beaucoup, Basile, tes compositions feront ma gloire et mon bonheur». Ее мучило, что истории с ней отвлекали его от искусства. Но вот теперь да не будет так. Он свободен и одинок — все для поэзии.

На него призыв действовал животворно. Да вообще горе животворило, не подавляло. То, чего Маша хотела от него, получалось: никогда столько он не писал, как в осенние эти месяцы в Долбине. И тотчас проступает в нем всегдашняя любовь к порядку, расписаниям. Надо приобрести полное понятие о религии — для этого чтение Священного Писания, книг моралистов, размышления, заметки. Но и непрерывные упражнения в прозе (“каждый день две или три страницы”). Стихи тоже обязательно. В том же роде распорядка и для самой Маши — чтобы и она жила если не художественной, то духовно-нравственной жизнью.

В половине сентября особенное обстоятельство его подбодрило: Екатерина Афанасьевна согласилась, чтобы он поехал с ними в Дерпт (куда назначен Воейков). Только поехал! В качестве просто друга. Но теперь она ему доверяет и не опасается. Как скромн он, как мало избалован! Чуть не счастьем кажется ему и это. И всегда, всегда завет Маши: писать.

Литературе осень в Долбине, напряженная, со сменой воодушевления и тоски, вся в остроте, на высоких нотах, дала много. Никогда столько он не писал. Исполнял-ли расписание свое или не ис-

полнял, но как раз тут дал ряд произведений первой линии, и довольно крупных: “Ахилл”, “Варвик”, “Эльвина и Эдвин”, “Алина и Альсим”, “Эолова арфа”, “Теон и Эсхин”.

Пронзителен для него мотив разлуки. Всюду проходит он теперь. Два сердца влекутся друг к другу — их разлучают. Смерть, веянье красоты и поэзии, стон арфы Арминиевой, повешенной певцом на дереве — в арфе звенит его душа — этим питается сейчас писание Жуковского. Над “Эоловой арфой” пролито было читателями море слез — плакать или не плакать зависит от характера, но баллада настолько, действительно, трогательна, так “легкозвонна”, певуча, нежна и духовна, написана такими блестяще - перемежающимися строками разного размера, что и сейчас вся поет и вся говорит во славу вечной, неумирающей любви.

“Теон и Эсхин” не менее знаменит. Может быть, даже более. Это спокойнее, не так рыдательно, дальше от ткани жизни тогдашнего Жуковского, но источник все тот-же. Примирение, приятие жизни — со всеми горестями ее: для Жуковского тема основная, зрелым художником зрело выраженная. С детства и навсегда засели в нас прославленные стихи:

И скорбь о погибшем не есть-ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды,
Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится?

“Для сердца прошедшее вечно” — заповедь эта проходит через всю его жизнь. Осень-же долбинская и написанное в ней (под благорасположением Дуни Киреевской, истинного друга) есть

истинное подтверждение того, как для художника полезна скорбь. Высота изживания скорби у Жуковского особенная: ни с кем несравнимая.

Богатство же природы проявилось еще в том, что рядом с “Эоловой арфой” написал он в Долбине и кучу стишков шуточных, для альбомов, писем — разное умещалось в нем одновременно (как бы жило в слоях души на разной глубине).

Он вступил теперь в самую острую полосу бытия своего художнического, как и в самую значительную полосу жизни. Странно связалось это с Воейковым. И замечательно разнствовање судеб их.

Воейков получил кафедру, уезжал в Дерпт с молодой и блистательной женой. Все ему удавалось. В семье он считался божком, в Дерпте должен был основать прочное и устроенное гнездо.

Жуковский после ряда просьб отброшен презрительно, не без унизости. Временами ему запрещается даже бывать в доме, который для него все. Близкие его уезжают в Дерпт. Он деревню свою для них продал. Отнята надежда на брак и на счастье, он бездомен, куда ему, собственно, преклонить главу кроме, как — временно — к Долбину. Он разбит по всей линии.

Победитель Воейков, Жуковский побежденный. Из них один пойдет под гору, во тьму и сень смертну, другой “из глубины возвах” будет восходить чистою и прекрасною стезей.

Д е р п т — П е т е р б у р г .

Юрьев, Дерпт, по немецки **Dorpat** — тихий городок в Эстонии, западней озера Пейпус, на речке Эмбаг: немецкая закваска в нем сильна. Город университетский, ученый, со студентами, профессорами, корпорациями — всё на иностранный лад.

В феврале 1815 года попадает сюда русская дворянская семья, верней две семьи, Воейковы и Протасовы, всё к Дерпту малоподходящее. Воейков должен читать русскую литературу в университете. Светлана его жена. Екатерина Афанасьевна и Маша просто близкая родня, без определенной деятельности. Где-то на горизонте Жуковский — у этого совсем никакой роли и в Дерпт он лишь наезжает.

Из Муратова ехали долго, сложно — чуть не тысячу верст на лошадях! Добравшись, сперва поселились на постоялом дворе “в одной комнате и гадко”. Но нашли, наконец, отдельный дом, куда и переехали. Светло, тепло. Все завалено посудой, книгами и мебелью — утрясется не так мгновенно. В одной половине Воейков со Светланой, в другой Маша с матерью.

Воейков со своей смесью язвительности и беспутства, надменности и самоуничужения, с литературным самолюбием всегда ущемленным, дол-

жен стать благонравным профессором. Екатерина Афанасьевна, помещица и крепостница, глава дома целого в Орловской губернии, здесь будет примеряться к полу-Европе без дворовых и девок, которых можно бить по щекам и ссылать на дальний хутор. Для Светланы — Плещеевых рядом нет, время забав и хохота прошло, нет и французских пленных офицеров. Надо быть скромной профессоршей. Она с мужем “Eine echte Ehepaar”. — Меньше всех, пожалуй, ощущает перемену Маша со своими книгами и вышиванием, молитвой.

Знакомятся с профессорами, ректором. Профессора являются с визитами. Чинно, скучно. “Хорошо ли чувствует себя в Дерпте госпожа надворная советница Voueikoff?” “Благодарю глубокоуважаемого профессора — превосходно” “Как находит она наш город в отношении чистоты и порядка?”

Тут Дерпту мог, разумеется, позавидовать родной Белев, да и Орел, Тула. Хорошая сторона города, также, музыка. Вот привозят им билеты (все здесь музыканты). Каждую неделю профессора, студенты устраивают концерт — сами выступают. Новоприбывшие, конечно, посещают их. Едут в университетской карете, “на казенных лошадях и на казенный кошт”. Машу удивляет нарядность, даже блеск концертного зала. “На концерте 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала, как Московская, музыка прелестная”.

Мирное житие начинается, и первое время действительно идет мирно. Воейков даже находит, что просто он счастлив — еще в марте считает себя счастливым. А уж Жуковскому не терпится. В Петербурге выпал ему большой успех. Тургенев прочитал Императрице Марии Федоровне посла-

ние Жуковского Александру I-му, с триумфом возвратившемуся из Парижа. Стихи Государыне так понравились, что чрез Тургенева и Уварова передала она автору полное свое благожелание — если ему что надобно, она с судовольствием сделает. Жуковскому следовало бы сейчас же лететь в Петербург, пожинать урожай. Но он был душой в Дерпте. Туда стремился, в Петербург даже не заглянул. Императрице, разумеется, ответил (“Мой слабый дар Царица одобряет...”), это была верноподданническая отписка. Знакомиться не торопился. Торопился же в Дерпт — и не на радость. Там всё слагалось не так, как идиллически предполагал он в минуты одушевления.

Во-первых, Катерина Афанасьевна сочла, что Машу тоже пора выдавать замуж, придумала ей даже жениха, некоего генерала Красовского. Генерал Маше никак не нравился. Вся затея совсем нелепая, Жуковский от нее пришел в ужас. Его настроение было такое: да, он от счастья своего отказывается, всё для Маши, и конечно, Маше надо выходить замуж, но все-таки за того, кто ей понравится, а не за первого встречного генерала. Но Красовский был приятель Воейкова и Воейков его поддерживал.

Получилось так: в Муратове у Воейкова с Машей отношения были добрые. Первое время в Дерпте тоже. Но с приездом Жуковского, и когда он увидел, что Маша к Красовскому холодна, а Жуковского любит по-прежнему, всё стало меняться — резко к худшему, и с ней и с Жуковским. Видимо, Воейков и Екатерину Афанасьевну возбуждал против них — Жуковский, мол, зря тянет безнадежный роман, понапрасну вовлекает девушку в треволнения. А ее просто надо выдать замуж за порядочного человека. Это повело к тому,

что за Жуковским завели надзор. С Машей наедине быть нельзя, никаких разговоров и объяснений, это опасно.

Он, конечно, был оскорблен. Приехал в высоком настроении, от счастья отказался, всё лишь для Маши, он отец ее теперь, а его подозревают в закулисных шашнях, считают чуть ли не соблазнителем. О Маше Воейков говорит теперь, что “за ноги вышвырнет ее из дому” (оберегал “честь семьи”). Заставляет присутствовать, когда “жених” приезжает, грубит ей, и т. п.

Жуковский и Маша стали переписываться записочками.

Теперь только понял Жуковский Воейкова. “Человек, который имел полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удерживаться от ненависти”. (Письмо Маше).

Если уж Жуковский заговорил о ненависти, значит дело Воейкова плохо. “Дай мне способ делать ему добро и я сделаю, но называть белое черным и черным белое и уважать и показывать уважение... — в этом нет величия: это притворство перед собой и перед другими”.

Так живут они, одиноко по своим комнатам, сходясь только за обеденным столом, в семье полной внутреннего напряжения, затаенных тяжелых чувств, слезки, нелюбви. Роль “отца”, когда сам молод и живешь рядом с любимой девушкой, не так-то легка. Весь этот апрель мучителем. В дневнике Жуковского — “белой книге” — томления его сохранились. Да и в записочках к “ней”. (“Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось”).

И тут же собственный “Теон” — “всё в жизни

к прекрасному средство". Сколь, однако же, легче уверить себя в возвышенности жизни без счастья, чем взаправду принять жизнь такую.

И Маша, Маша. Ее надо устроить. Надо ей дать возможность жить, дать на чем стоять, перевоспитать, что ли. Чтобы любила она его не "как прежде", а как брата или отца. Она тоже должна удалить "все собственное, основанное на одном эгоизме" (т. е. любви женской). С наивностию думает он — и записывает — что ее счастье может состоять в жизни согласной с матерью и семьей, в сознании, что и он счастлив одной дружбой, работой, и т. п. Да, пусть даже и замуж выходит, но не за такого же Красовского, а кто ей по душе и по сердцу — "чтобы с другим иметь то, что надеялась со мною". С полною смелостью ставит он тут героическое решение, с полною прямою открывает и душу свою, человеческую, страждущую, никакими Теонами, как лекарством бесспорным неизлечимую. "Та минута, в которую для этой цели я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает и я прихожу в уныние" — вполне понимаешь, что приходит в уныние, но вот мы, через сто с лишним лет, не перестаем приходить в восхищение от смиренных слов чистого сердца, с такой безответностью нам предложенного. "Я решился пожертвовать собой" — есть ли другой такой пример в нашей литературе?

Вышло же из этого только то, что Екатерина Афанасьевна, явно Воейковым подстрекаемая, потребовала опять, как и в Муратове, чтобы он удался. Вновь его изгоняют. Воейков вошел в семью, он из нее вышел — таково было его мнение, очень от истины недалекое. В начале мая, ничего не решив, уезжает он в Петербург.



Вдова Имп. Павла, Императрица Мария Федоровна жила полною, напряженной жизнью. Нельзя упрекнуть ее в бездеятельности. Приюты, институты, разные училища, благотворительность — во всё это была она погружена вполне. “Ведомство Императрицы Марии” — след трудов ее остался в России до самой революции. С немецкой дотошностью занималась она институтками и сиротами, и глухонемыми, вела огромную переписку, разъезжала по благотворительным учреждениям. Да и вообще была культурна. Поддерживала знакомство с литераторами, учеными. К ней приезжали Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий — на литературные собрания в Павловске.

О Жуковском имела она уже понятие и чувствовала к нему расположение. Теперь предстояло и встретиться.

Это произошло в мае 1815 года, когда он приехал в Петербург после всех тягостей дерптской весны.

Мундира для представления не оказалось. Но были друзья, они и выручили: нужное одеяние достали. Уваров повез его во Дворец.

Жуковскому тридцать два года. Он видел и знал уже довольно много людей, разных общественных положений.. Но к таким Гималаям приближался впервые. Муратово, Долбино, Дерпт — до чего это скромно-провинциально рядом со Дворцом Императрицы, зеркальными полами, статуями, бесшумными лакеями.

Разумеется, ему жутко в этот майский день. Уваров ведет его по Дворцу. Пройдя небольшую комнату, входят они в другую, перед дверями которой ширмы. Из-за ширм голос произнес: “Вон-

jour, monsieur Ouvaroff” — Жуковский думает, что это придворная дама. Вошли, оказалось — сама Императрица. Вдали, в глубине большой комнаты, великие князья Николай и Михаил Павловичи. Жуковский хотел что-то сказать благодарственное, заранее приготовил, но ничего не вышло, только всё кланялся. Всё же разговор завязался. Мария Федоровна неважно говорила по-русски — быстро и несовсем внятно. Жуковский в волнении своем с ужасом заметил, что плохо понимает. Выручил Уваров: задал Императрице вопрос по-французски. Она перешла на французский и дело наладилось. Стали вспоминать прошлое, войну, тяжелые времена. Как тогда полагалось, Государыня была чувствительна: несколько раз слезы показывались у нее на глазах. Держалась она очень милостиво и приветливо. “Беседовали” около часу. Когда гости стали откланиваться, она ласково сказала Жуковскому: “Мы еще с вами увидимся”.

В словах этих оказалась половина его судьбы. Застенчивость, миловидность, то необъяснимо-светлое, что излучал он и чем покорял людей самых разнообразных, все это на нее действовало, конечно.

Выходили вместе с Великими Князьями. Уваров попросил у Николая Павловича разрешения представить Жуковского — и вот он пред огромным красавцем с глазами, о которых позже скажут, что в них было нечто страшное. Было ли или не было, но пред ними все потом трепетали. А тогда еще никто не думал, что этому юному гвардейскому офицеру, занимавшемуся только армией (но занимавшемуся!), предстоит долгие годы править Россией.

Неизвестно, как себя чувствовал в ту минуту

Жуковский. Но будущее предстало во весь рост. От литературной своей матери получал Николай Павлович Жуковского — для семьи и воспитания ее.

Очевидно, Жуковский ему тоже понравился.



А от Дерпта всетаки не отстать. Петербург — блеск, слава, пышность, несомненно в духе его. Сердце не здесь. Оно там, где и трудно, и мучительно, но где судьба души.

Европа заканчивала страшную полосу бытия своего — 18 июня отгремело Ватерлоо, а в Дерпте никому неведомая Светлана 26 июня, ни о каких Ватерлоо понятия не имея, родила дочь Екатерину — для Жуковского повод укатить в Дерпт: Светлана его крестница, а теперь его записали крестным маленькой Кати. Значит, надо быть в Дерпте.

На крестины он опоздал, его заменял старый Эверс, профессор теологии, патриарх дерптский, будущий его друг (а Светланы уже друг).

Лето Жуковский проводит в Дерпте. С Екатериной Афанасьевной как будто мир, но всё лишь внешнее. И неестественное. Вновь живут по своим норам. Как и раньше, большое и тягостное бросает свой сумрак из глубины. Вот Тургенев зовет в Петербург в конце июля — Государыня хочет его видеть. Впрочем, если “солнце” удерживает в Дерпте, то не обязательно сейчас же скакать. Из ответа Жуковского видно, что “солнце” ему издали лучше светит. Вблизи много есть затемняющего. “Уехать отсюда не будет для меня жертвою; напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших

своих чувств. Не говорю уже о надеждах, их нет, да оне и ненужны”.

Non sine te, non tecum vivere possum — издали тянет, а вблизи мучит. Так в неестественных положениях и бывает. И пожалуй, единственное, что осталось хорошего для него от того лета, была завязавшаяся дружба со старым Эверсом, философом и богословом, в жизни тоже премудрым. Весьма мир Жуковского — одинокий, 80-и летний старик, полу-нищий, для которого будто бы ничего в жизни нет, а вот он всё ясен и светел, как вечерняя летняя заря, которую радостно ему созерцать, выходя за город на пригорок. Эверс, закат жизни, так же Жуковскому подходил, как другое существо — утренняя заря, студент Зейдлиц, с которым знакомство его с праздника корпорации, какого-то “фукс-коммерша”. Эверсу жить не долго, Зейдлицу еще целую жизнь. На всю эту жизнь он пленился Жуковским и Машей, Светланой. Милой и благодетельной тенью пройдет “добрый Зейдлиц” рядом с жизнями этими. Только добро, только забота, любовь от него исходят ко всему клану жуковско-протасовскому, ему дано всех пережить и всех увековечить в жизнеописании Жуковского, первом по времени, до сих пор сохраняющим важность первоисточника.

24 августа всетаки выехал Жуковский в Петербург. Путешествие было нерадостное. Его мучили мечты и фантазии, на каждой станции он что-то писал, всё Екатерине Афанасьевне. Мерещилось невозможное — вдруг в Дерпте на всё соглашаются, вновь дружба, тихое, мирное житие... — Он писал, рвал, опять сочинял. В этом полубреду въехал в Петербург “с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в моем чемодане”.

В Петербурге поселился у Блудова, давнего своего приятеля еще по Москве, времен Дружеского Литературного Общества.

4-го сентября был вторично представлен Марии Федоровне, в Павловске. Теперь это произошло более значительно, более и интимно. В сущности, Жуковский гостил у Императрицы. Прожил в Павловске во Дворце три дня, подобно поэту Возрождения при просвещенном дворе Италии. Мария Федоровна допустила его в простую домашнюю обстановку, вместе обедали и ужинали, гуляли. (Павловску посвящена "Славянка" — так называлась речка там, вдохновившая его).

В сентябрьском Дворце, парке Павловска с тихими водами его, лебедями было нечто как раз от поэзии. В гостиной же Императрицы Нелединский-Мелецкий читал дамам стихи Жуковского. Кроме хозяйки великие княгини присутствовали, две-три ближайшие придворные дамы. Лебеди на прудах, осенняя позлащенность берез в окнах, красные клены, мягкие отсветы паркета, слезы на глазах слушательниц от "Эоловой арфы" — всё это очень Жуковский. Как всегда, скромн он и мил. Великий дар его вызывать к себе расположение тут проявляется во-всю.

Он, однако, невесел. О днях во Дворце вспомнит с приязнью, но вообще ему в Петербурге нелегко. Дерпт томит. Даже в Павловске, дожидаясь с Нелединским Государыни, наводит он разговор на родство с Машей. Нелединский чертит кружки, рисует древо генеалогии: на бумаге выходит будто Жуковскому благоприятное. Разговаривает о том же потом с Протасовым, братом мужа Екатерины Афанасьевны. Как и Нелединский, Протасов на его стороне. Пишет даже своячнице письмо

в этом смысле. И всё неизвестность: а вдруг повернется в хорошую сторону?

Так вот и колебалось в душе. Но над всем печаль. Придворный успех ее не покрывает. (Ему дали уже должность чтеца при Императрице, явно прикрепляя ко Двору). В Петербурге неуютно. Бросает “из мертвого холода в убийственный огонь”. Кажется ему даже, что и поэзия отошла. “Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какойнибудь Долбинской роще” — дорогие, как бы утерянные края Мишенского и Киреевских. А деятельность “около литературы” в Петербурге немалая. Начинается она в том же сентябре.

Князь А. Шаховской, довольно известный писатель тогдашний, принадлежавший ко кругу Шишкова и “Беседы любителей”, поставил в конце сентября пьесу “Урок кокеткам или Липецкие воды”. Среди других был изображен в комедии жалкий “балладник” Фиалкин — насмешка над Жуковским.

Пьеска пустая и автор пустой. А вышло из этого нечто неожиданное и не без значения. На первом представлении присутствовал Жуковский. Друзья сидели с ним в третьем ряду кресел — гр. Блудов, Вигель, Жихарев. Когда Фиалкин появлялся, публика оборачивалась к Жуковскому — разумеется, шопот, смешки, лорнеты. Сам Жуковский относился спокойно (помогал удивительный характер). Друзья-литераторы кипятились и негодовали. Пьеса имела успех, хоть и не из-за Жуковского, он же писал родным, несколько позже: “Теперь страшная война на Парнассе, около меня дерутся за меня, а я молчу”.

Война состояла в том, что молодые писатели

решили, наконец, выступить против старых — вечная история в истории литературы.

Уже сложились две группы: одна охранительная, сторонники Шишкова и церковно-славянской старины, другая шла от Карамзина, более современного духа. Шишков был адмирал, сановник, его “Беседа любителей русского слова” — академия, с генеральским оттенком. Заседали на торжественных, скучноватых собраниях, в парадной зале. Приезжали важные старики в юрденах, министры и светские дамы. Шишков поучал их тайнам собственной филологии. Ненавидя все иностранное, старался вводить “русские” слова — чаще всего коряво и безвкусно. Образцом считался церковно-славянский язык: из него исходить, им питаться. Получалось всё это недаровито. И громоздко, но торжественно, как колонные залы заседаний, как кареты, мундиры, бальные платья дам. Из первоклассных бывали у них Державин, Крылов (последний по недоразумению). К ним, разумеется, принадлежала и кн. Шаховской со своими “Липецкими водами”.

Молодежь взволновалась, решили создать противовес. Так после премьеры Шаховского учредилось общество “Арзамас”.

Граф Блудов, А. Тургенев, Батюшков, Дашков, Жуковский, гр. Уваров, В. С. Пушкин, кн. Вяземский — вот его сердце. Секретарем оказался Жуковский, а позже явилось еще существо, совсем юное, лицеист Александр Пушкин. “Беседа” выросла из придворно-чиновничьего. Была парадно-скучна. В “Арзамасе” всё наоборот”. Большинство его тоже были баре, но стиля хотели простого, с забавностью, шуткой, хотели быть связаны и с современной жизнью. В пределах широкой,

привольной тогдашней жизни их можно было назвать богемой.

Собиралась эта богема в квартире гр. Блудова. (Квартира отличная, но денег так мало, что иногда Блудов с Жуковским хлебали щи у Гаврилы, дядьки хозяина — наследства Блудов еще не получил).

Заседали, острили, высмеивали стариков из “Беседы” (но не Державина и не Крылова), придумывали шутки и забавы. Клонилась же это всё к утверждению естественного и простого, не-боязни языка современного, не-презрения к обыденности. Передразнивая масонские ложи, завели они ритуал посвящения новых членов, насмешливый и увеселявший.

У всех были клички. Жуковский — Светлана, Тургенев — Эолова арфа, гр. Блудов — Кассандра, Уваров — Старушка. Пушкин назывался Сверчком. При вступлении каждый должен был произнести похвальное слово покойному предшественнику, как в Академиях. Но никто у них еще не умирал. Покойников брали напрокат у “Беседы” и панегирики эти были, конечно, веселые.

Вообще чуть не всё связывалось с шуткой, иногда совсем детской. Арзамас городок Нижегородской губернии, недалеко от Сарова. Мало чем помянешь его. Но вот в те времена славился он гусями. Литераторы молодые заводят “Арзамасскую Академию” (и в заключение заседаний едят гуся), Шаховского называют Шутовской (помирают со смеху), Блудов пишет целую статью “Видение в Арзамасе ученых людей”.

Вот они принимают в сочлены В. Л. Пушкина, “дядю”, и тоже поэта. Нарядили в хитон с раковинами, на голове огромная шляпа, глаза завязаны. В таком виде ведут по комнатам огромного

дома Уварова, по узкой крутой лесенке сводят вниз, бросают ему хлопнушку под ноги, заставляют проделывать всякие глупости, стреляют из лука в чучело, изображающее Шишкова, подносят огромного замороженного гуся, и т. п. — потом кладут его, наваливают на него несколько шуб и так, лежа под шубами обливаясь потом, дядюшка Пушкин выслушивает шутовскую речь секретаря (Жуковского: “Какое зрелище пред очами моими! Кто сей, обремененный толикими шубами страдалец?” — и т. д. — смысл тот, что жар шуб должен омыть его от “коросты Беседы” и тогда он невинным вступит в ряды арзамасцев).

Всё это тянулось долго и... — нравилось. Довольно удивительно, что как раз Жуковский был зачинщиком всех таких штук. Тот, чей стих “легок и бесплотен как привидение” (Гоголь), любил всякую острословную чепуху, шуточные стишки, выдумки, решительно никакой славы ему не прибавившие, но за которые он стоял горой. У Жуковского не было капли юмора, но он очень любил острить, сам хохотал по детски и насколько был скромнен в большой литературе, настолько высоко о себе мнил в жанре комическом. А теперь, осенью 1815 года в Петербурге, это могло-бы казаться и совсем странным: труднейшая осень, с такой внутреннею тоской и все эти дурачества Арзамаса.

**
*

Иван Филиппович Мойер был сыном ревельского суперинтенданта. Вначале изучал богословие в Дерпте, потом занялся медициной. Учиться уехал за границу — шесть лет провел в Павии, трудился под руководством знаменитого хирурга Скарпы. Работал и в Вене. Отлично играл на рояле, встре-

чался и был знаком с Бетховеном. Кроме последней — теперь как бы легендарной черты биографии — все остальное обыденно, просто, высоко, будто и слишком добродетельно: хоть бы какой недостаток! В 1812 г. в Дерпте заведует он военным госпиталем, потом работает в университетской клинике, через три года получает звание профессора.

Портрет показывает приятное, округлое и доброе лицо в очках, с мягкими некрупными бакенами на щеках, усы и подбородок бриты, шея в высоком галстуке, из под которого торчат углы крахмального воротничка. Облик благодушия и смиренности, старонемецкого сентиментализма.

Этот Мойер лечил Протасовых и Воейковых. Летом он познакомился и с Жуковским — оба друг другу понравились чрезвычайно. А еще больше нравилась Мойеру Маша. Да и она относилась к нему с большой симпатией.

В доме же, после отъезда Жуковского, стало совсем плохо — Воейков распустился до невозможности. Всё у него выходило теперь неудачно. Вначале профессора приняли его хорошо, скоро, однако, увидели, что он такое. Пьянство, грубости, сцены в семье — в маленьком городе всё известно. Лектором он оказался плохим, студентам из немцев и предмет малоинтересен. Посетителей у него всё меньше. Он злится, завидует, срывает это на домашних.

Вот запись Маши (ноябрь) — не из веселых: «После ужина он опять был пьян. У мама пресильная рвота, а у меня идет непрерывно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говорит, что этому причиною страсть, что я так же плевала кровью, когда собиралась за Жуковского, что через

год верно от какого-нибудь генерала будет та же болезнь.

В гадких этих намеках разумеется Мойер. Он просил уже руки Маши, но ему отказали. Теперь положение иное. С одной стороны — Жуковский произвел из Петербурга последнюю попытку воздействовать на Екатерину Афанасьевну: по его просьбе Павел Протасов написал ей еще письмо, всё о той же возможности брака Жуковского. (Кажется, именно это письмо и ускорило события в Дерпте, всех растревожило). Затем, положение Маши из-за Воейкова становилось невыносимым. “После ужина он опять пьян, грозит убить Мойера, маменьку и зарезаться”. “Если бы Жуковский и Кавелин могли бы видеть один из этих ужасных вечеров, они бы сжалились над нами”

Мойера он грозитя убить потому, что Маша, да и Екатерина Афанасьевна решили на этот раз Мойеру не отказывать. Произошло это в отсутствие Воейкова — он уезжал в Петербург по делам к Жуковскому и Кавелину (с последним вышли у него неприятности). И вдруг оказалось, что Мойер жених Маши. До Маши-то Воейкову дела мало, но как так решили без него, да еще новый соперник в семье, новый и сонаследник по Муратову — и во всяком случае полный защитник Маши; с г-жей Мойер не станешь уж так обращаться, как с безответной Машей Протасовой.

Маша совсем не имела к Мойеру чувства как к Жуковскому — видимо, просто он расположил ее к себе качествами бесспорными. И не ее одну, всех располагал. В Дерпте пользовался отличной славой. Достаточно ли этого для брака, другой вопрос. Но Маша явно была в безвыходности: или продолжать мучительную жизнь при Воейкове, на замужество с Жуковским не рассчитывая,

или все резко переломить. В своей тишине, в слезах смиренных приняла она решение, частью похожее на самозаклание. Но ведь вообще была из породы агнцев. “Мой милый, бесценный друг... — Я не закрываю глаза на то, чем жертвую, поступая таким образом. “А вот оказывается, что этим дает счастье матери и еще доставит ей “двух друзей”.

В отстранении “себя”, в жизни “без счастья” видна ученица Жуковского. Будто и не из сильных, но когда надо вкусить горечь, силы находятся. Чтобы “маменьке” было покойнее, для этого и ломать жизнь.

Жуковский всё это принял с горячностью крайней. Поражен, негодует. Считает, что Машу насильно хотят выдать. Не может быть, чтобы вправду она полюбила, так скоро, так сразу забыла всё прошлое. Нет, невозможно. Письмо его (25 дек. 1815) — целое произведение. И спор, и нападение, и выдержки из ее письма, и опровержения. Ему нелегко. Возражать вообще против того, чтобы Маша вышла замуж нельзя — с ним самим брак невозможен. Он и не возражает. Но хочет, чтобы сделано было по ее воле и с известной разумностью. Пусть она пораздумает, приглядится. Против Мойера он ничего не имеет, но она почти и не знает его, для чего же спешить?

Это, в сущности, уже поражение. Уже признается, что Маша должна выйти не за него, а за другого, уж и другой этот не таков, каким был Красовский... — вопрос только в том, не вынуждено ли у нея решение, и если оно свободно, то пусть пройдет хоть некоторый срок. А затем, надо самому посмотреть.

В январе он опять уже в Дерпте, чтобы самолично “вложить персты”, вновь вблизи перестрадать, прикрываясь возвышенным прекраснодуши-

ем и убедиться, что другого выхода нет. Лучше Мойера не найти. Мойер любит ее высокою, преданною любовью.

Вот живут они трое, бок о бок — Мойер, Ма-ша, Жуковский, в этом немецко-университетском Дерпте. Медленно, неотвратно уходит счастье Жуковского — в пышных и возвышенных словах, в призываниях дружбы, мира, спокойствия — именно и уходит. Теперь Екатерина Афанасьевна спокойна. Не боится уже. Жизнь Маши на рельсах. С Жуковским не возбраняется и разговаривать наедине, и гулять, всё уже решено. Только Воейков беснуется: никак не может принять, что не он один в доме. И среди безобразий своих вдруг напишет чувствительное послание жене, о Жуковском отзовется превыспренно, можно подумать, что и он вот, Воейков, тоже из стана поэтов. Но никто всерьез этого не подумает, только скажет, что душа человеческая пестра и противоречива. Одной краской ее не напишешь.

В Дерпте Жуковский входит в жизнь города — университетскую, литературную и духовную. Много знакомств с профессорами типа Эверса и других, со студентами вроде Зейдлица. Поэзия германская являлась тоже: занялся он Геббелем (“Овсяный кисель”) — нельзя сказать, чтобы уж очень блестяще. Университет поднес ему доктора *honoris causa*, дело рук новых друзей, может быть, и не без Мойера. Но это все лишь поверхность. “Из глубины воззвах” этого времени надо считать “Песню”:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья
И замолчавшие мечты?

Не всё покойно в отказавшемся Жуковском. Из под торжественного облачения душевного доходят стоны. Душа стремится в край,

Где были дни, каких уж нет,
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет...

Пушкин сидел еще в Лицее, а в литературе раздавались уже звуки, которые он подхватит, взвоет, возведет в перл. Но раздались-то они у Жуковского. Он русский Перуджино, чрез которого выйдет, обгоняя и затмевая, русский Рафаэль.

В это же время написано "Весеннее чувство" ("Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь...") — с той спиритуальной легкостью, которая лишь одному Жуковскому и свойственна. "Воспоминание" весомей — грусть что-то да значит ("И слез любви нет сил остановить"...). Тут же и другая "Песнь" ("Кольцо души-девицы я в море уронил").

А жизнь и события ее текли. Жуковский любил называть странствие наше ночью дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь — память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей. Свадьба Маши и Мойера (14 янв. 1817) была, разумеется, для него большой вехой, но конечно, уже не фонарем, радостно что-то освещающим.

Вот как описывает он себя после ее свадьбы: "Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но боровшись имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя при-

выкла: эта деятельность была до сих пор всему источником”.

И дальше:

... “Я не могу читать стихов своих... Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет”. — Он вступал в некоторый душевный туман — или оцепенение.

П р и д в о р е .

Осенью 1816 года красавец огромного роста, с которым познакомил Жуковского у Императрицы Марии Федоровны Уваров, уехал в Берлин: налаживался брак его с Шарлоттой, дочерью знаменитой Луизы Прусской.

Эта Шарлотта, видная, замкнутая и просвещенная девушка, провела детство и отрочество в изгнании — Наполеон был врагом всей королевской семьи. Они жили уединенно и бедно, пока по Европе шумел победитель. В сыром, скучном Мемеле Луиза приучила свою Шарлотту к труду, чтению, религии. Позже они перебрались в Кенигсберг. А с падением Наполеона — вновь в Берлин.

Русский Великий Князь для немецких королей находка. Николай всю осень провел в Шарлоттенбурге, где жил Двор — кроме невесты больше всего занимался парадами и военными делами. А потом уехал дальше, побывал в Англии. Но свадьба решена была окончательно и священник Музовский стал готовить Шарлотту к переходу в православие.

На следующий год, через четыре месяца после свадьбы Маши и Мойера, Шарлотта выехала уже в Россию — для бракосочетания.

Николай очень ей нравился, да и она ему. Можно думать, что просто они были друг в друга

влюблены. Все-таки уезжать было тягостно. Родной мир оставался сзади — впереди гигантская и жуткая Россия.

Жених выехал встречать невесту к границам государства своего и вез ее как можно скорее, но по тем способам передвижения всё-же медленно, на Ригу. В дороге угощал смотрами и солдатами. (“Нельзя поверить, чем этот господин способен заниматься по целым дням”, записал язвительно немецкий генерал, сопровождавший принцессу). Принцесса была не очень весела: боялась Императрицы, боялась перемены религии, вообще всего чуждого, нового мира.

Императрица, однако, приняла ее ласково. Но тяжелого настроения не рассеяла. “С самого своего въезда в Петербург вплоть до 24-го июня Шарлотта плакала, как только оставалась одна”. Но потом причастилась — стало легче. Император Александр был с нею мил, со всегдашней своей прохладной и таинственной ласковостью, под которой неизвестно что. Под руку с ним, в белом платье с крестиком на груди, подходила она впервые к св. Чаше, неверным голосом, на полужнаком языке прочитала наизусть Символ Веры и из Шарлотты Прусской превратилась в Александру Федоровну, а через неделю в русскую великую княгиню.

После свадьбы молодые непрерывно переезжали из дворца во дворец, главнейше же вращались вокруг Павловска, где жила Императрица Мария.

Тем самым попадали в ее просвещенно-литературный круг. Александра Федоровна сама этим интересовалась. Николай больше любил военное дело, но не надо думать, что литературу не ценил — позже вслух читал жене в Аничковом Дворце

сам, а теперь, в дурную погоду, в Павловске им читали Уваров, тот Плещеев-негр, что был соседом Жуковского по имению, и сам Жуковский.

Тут и произошла встреча Жуковского с Великою Княгиней, столь огромно отозвавшаяся на его жизни. Как и многим другим, он ей понравился. На долгие годы это определило его судьбу — и жизненно, и даже литературно.

К Императорскому Дому Жуковский прирастал не со вчерашнего дня, медленно, но верно. Началось это два года тому назад, с майской и сентябрьской встречи с Императрицей Марией. Потом чтение ей вслух, потом стихи патриотические, поднесенные Государю, назначение пенсии (небольшой, но пожизненной). Всё это внешнее. Жуковский ничего не добивался. За него старались друзья. Он же благодарил, исполнял что полагалось, но на сердце иное. Свадьба Маши все определила. Оставались лишь воспоминания и минуты тоски, прорывавшей серость жизни его теперешней. В это именно время встретился он с юною Великою Княгиней, перестраивавшей душу для российской жизни. Может быть, с некоторого конца и подходили они друг к другу, даже друг в друге нуждались, так что не зря получил он назначение преподавать ей русский язык и литературу: труды с ней заполняли для него некоторую пустоту, дух же изящества и благородства женского его вообще воодушевлял. И вот представляется ему случай делать нечто подходящее, как-то жить.

Придворным -был -он, разумеется, никаким. Но ученица ему нравилась.

Он занимался с ней от всего сердца. Много вместе читали. Для нее составил краткую русскую грамматику. Изящный, тихий поэт тоже был приятен. Позже ее считали холодноватой и надменной,

но в те годы, еще не отравленные болезнью, трудностями с мужем, охотно видишь в ней молодую женщину с тяготениями романтическими, склонную к поэзии — и вот встретилась она в этом сумрачно-роскошном Петербурге, в блеске Двора, с душой нежной и чувствительной, с настоящим певцом. Он дает ей нечто, противоположное строгому великолепию окружающего.

Начинается взаимовлияние. В нем самом (и в его стихах), в русской литературе, куда он ее вводит, она что-то для себя находит утешительное. А его приближает к германской поэзии — все сильней и решительней — и он выходит на дорогу свою. Выпускает под ее покровительством книжечки “Для немногих” (“Für Wenige”) — переводы из немецких поэтов: Гёте, Шиллера, Гёбеля, Кёрнера, с немецким сопроводительным текстом. Изящные сборники, в художественных обложках с рисунками того времени. В № 4 помещен знаменитый перевод “Лесного царя”, всем с детства знакомый, так и оставшийся непревзойденным. Там же большое собственное его стихотворение, весьма знаменательное и имевшее отношение к его личной судьбе: на рождение Наследника.

Император Александр зиму 1817-18 г. г. проводил в Москве, “малый двор” в. к. Николая и Александры Федоровны тоже. Москва оправлялась от пожара и разгрома французами, Государь хотел быть вблизи населения, воплощая величие и победоносность России. Жуковский сопровождал Двор. Жил тоже в Кремле, продолжал обучать Александру Федоровну, а в свободное время бродил с гр. Блудовым, давним приятелем еще с коронации Александра I-го, по Москве, разыскивая

уголки поэтические, восторгаясь ими по-детски.

А ученица его родила в Кремле сына. Жуковский и написал ей по этому случаю послание.

В нем есть внешнее, есть и внутреннее. Верноподданническое и человеческое — нечто от искреннего прирастания к царской семье, к самой Александре Федоровне. Она для него и Великая Княгиня, и бывшая ученица, милая знакомая. Литературное достоинство послания не выше среднего. Но некоторые общие высказывания замечательны.

Родился мальчик Александр, не простой мальчик, будущий Царь-Освободитель. Судьба его особенная.

Уже в ее святилище стоит
Ему испить назначенная чаша.

Величие этой судьбы Жуковский чувствовал. И издали, над колыбелью, в суровый век Аракчеева, будущему своему ученику дал завет нового времени — воистину Новый Завет:

Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек.

Некогда возвестил он Светлане светлую и счастливую жизнь — и ошибся. Теперь ничего не возвещает, но напутствует. Послание написано в мажорном и торжественном тоне, с любовью, но и наставительностью: так отец мог бы говорить сыну.

В некотором смысле отцом он ему и оказался. Больше отцом, чем отец настоящий. Только вряд ли скромному его взору мог примерещиться

тогда, в Кремле, страшный конец Императора Александра. Этого и не требовалось. Пророком Жуковский никогда не был.

**
*

В те годы ему суждена была жизнь довольно блестящая и разнообразная — внутренне же пёстрая, даже противоречивая. То он со Двором в Москве, то живет в Петербурге у Блудова, позже у овдовевшего своего друга “негра” Плещеева, перебравшегося в Петербург, то едет в Дерпт к своим “вечным”: эти уже навсегда. Но во внешнем устройении над всем Двор и ученица. Ей он предан, хоть не все в его душе открыто для нее. В глубине многое, чего не скажешь, в оде ли или послании. Это к Дерпту направлено.

И как нередко у него: шумные заседания “Арзамаса” со всякою чушью, шутивными несмешными стихами, жареным гусем и возлияниями, а тайные записи все о неугасшем, да и угасимом ли? Там цвет поэзии его.

“Протокол двадцатого арзамасского заседания” — трудно поверить, что один и тот же человек написал:

“Взлезла Кассандра на пузо, села Кассандра на пузе” — и далее нечто длиннейше-скучнейшее, над чем помирал со смеху недавно выпущенный из Лицея Александр Пушкин, также и другие со товарищи и собутыльники — и

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины.
Ах, звезды не приманить;
Счастью бывшему не быть.

Если б жадною рукою
Смерть от нас тебя взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце всё бы ты жила.
Ты живешь в сияньи дня;
Ты живешь не для меня.

Это из Шиллера. Но Шиллером проговорило сердце и Шиллер обратился в Жуковского, не смотря на неподходящее название ("К Эмме"), не смотря на последнюю, третью строфу, где является Эмма и ослабляет две первых строфы.

Стихи помечены: 12 июля 1819 г. Рядом, все в том же "гробу сердца" его, другое стихотворение: "Мойеру".

Счастливец, ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы твоей прекрасной,
Мне ж сердце и душа и жизнь и всё на-
прасно,
Когда нельзя отдать всего на жертву ей.

Этих стихов не знала ни Александра Федоровна, ни, вероятно, и ближайшие его друзья — Тургенев, Блудов. За них не получал он ни наград, ни пенсий. Просто в Дерпт съездив, повидав жизнь милых сердцу (в феврале 1819), написал всё это летом для себя. А записалось золотом в наследие литературное, да и человеческое. (Хорошо бы найти другого русского поэта, способного сказать сопернику хоть приблизительно подобное!).

А ученица его между тем захворала. В июле

1820 года занятия с ней пришлось бросить. Но для него болезнь эта оказалась и благодетельной: Александру Федоровну отправляли лечиться за границу, среди других в свиту ее был назначен Жуковский.

Много лет назад, еще во времена Мерзлякова, сын турчанки и русский европеец мечтал уже о Западе — собирался в Геттинген. Тогда это не осуществилось: не был он готов. В Отечественную войну сверстники его Европу увидели, докатились до самого Парижа. Но он заболел и не докатился. Теперь не он болел, но ему пора видеть новое. Художник созрел в нем, Лагарпы, Флорианы, Жанлис, Коцебу давно позади, близки Шиллер и Гёте. Вот теперь и пора встретить ту Германию, духовный союз с которой главенствует над всем взрослым его писанием.

В сентябре он трогается, чрез Дерпт и Ригу, в довольно таки дальний путь. Это его волнует и воодушевляет. Несколько жуток берлинский Двор, он боится там скуки и казенщины, но зато Дрезден, галереи, Рейн, замки, Швейцария! И люди удивительные... (В эту поездку мельком встретился он с Гёте).

Опасения насчет Берлина не подтвердились. Наследный принц, брат Александры Федоровны, проявил себя очень приятно, оказался даже склонным к литературным интересам. Новое и замечательное увидел Жуковский в театре, Шиллерову "Орлеанскую Деву" — позже и перевел ее, прославил на русском языке.

А у себя дома королевская семья устроила пышное представление — инсценировку поэмы Мура "Лалла Рук": живые картины в духе феерии восточной, где Великий Князь Николай играл роль поэта-короля, Александра Федоровна героиню,

Лалла Рук. Жуковский всюду присутствовал. Из поэмы перевел эпизод, озаглавив его: "Пери и Ангел". Вообще же состоял как бы придворным поэтом — положение не из легких.

Помогал легкий характер. Да еще то, что к царской семье привязывался он тоже семейно, по другому, конечно, чем к Протасовым и Юшковым, все же входил в жизнь этих частью надменных, частью и сентиментальных "верхушек пирамиды" как **благодетельный и благосклонный, скромный дух. Жуковский именно "при них", и обиходный, свой, но и внешний, за ним поэзия и красота — это они, к счастью, чувствовали и понимали.**

Шум, блеск Двора, сердце же закрыто. У Маши только что родилась дочь. Он спрашивает друзей о ее здоровье. А самой ей приписка: "Маша, милый друг, напиши мне о своей малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок!"

Очевидно, бесценный, раз взял с собой в европейское дальнее странствие (видимо, ее "письма-дневники").

"Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоём сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше". "Читать твою книжку есть для меня оживать. И много милых теней возстает".

На нескольких строках три раза слово "милый" Это Жуковский. Это нечто и от того времени. Не от Аракчеева и Бенкендорфа, а от нежных душ, чувствительных, мечтательно-меланхолических.

Так шла зима. В апреле тронулся он в путешествие по Германии и Швейцарии.

**
*

Жуковский рано начал рисовать, с детства. Занятие это очень любил, оно прошло чрез всю его жизнь. Поэт, в стихах своих музыкаю проникнутый, одухотворивший ею слово, музыки как искусства не любил. Живопись же считал родною сестрой поэзии — в собственной его поэзии эта сестра роли не играла. У него был острый и живой взор. Видел и замечал превосходно, но для стихов этим не пользовался. Весьма склонен был прославлять Божие творение. Делал это в описаниях природы (прозой) и в рисунках.

Еще собираясь в путешествие, летом 1820 года усердно рисовал виды Павловска и упражнялся в гравировании их на меди. Заграницею это пригодилось: в Германии, Швейцарии встретилось как раз то, что его артистически воодушевляло. Он много рисовал в дороге.

Первое крупное, может быть и великое впечатление его в этой поездке — Дрезден. Подъезжал он к городу вечером 1-го июля. “Вышел из своего смиренного Stuhl Wagen’a”, пошел пешком. “Город светился между зеленью каштанов, кленов и тополей; вблизи, между темнозелеными деревьями мелькала мельница, за нею зеленел широкий луг, далее виден был прекрасный Дрезденский мост, над ним темные липы Брюлева сада и величественно из-за вершин древесных выходил купол церкви Богоматери и великолепная католическая церковь с высокими башнями”

“Долго бродил по террасе Брюлевой; пестрая толпа сверкала на солнце под зеленью лип, и все было чрезвычайно живо; небо ясно угасало и на светлом безоблачном западе прекрасно отделялся высокий крест, стоящий на мосту: этот

вид давал картине что-то необычно величественное”.

Под таким углом встретился он с Дрезденом, пребывание там оказалось значительным для него внутренне.

Вот встреча с Фридрихом, живописцем, и Тиком — главой немецких романтиков того времени. Оба ему понравились. С Фридрихом отношения сохранились надолго, Тик произвел впечатление яркое, но так и мелькнул странно-таинственной звездой. Они виделись, много беседовали, Тик читал ему “Гамлета” — чтец был замечательный — но Шекспир не так уж понравился: тяжелое, сумрачно-кровавое и “слишком человеческое” в нем не было близко Жуковскому.

С Фридрихом он сошелся. Об этом пейзажисте и художнике романтическом без него мы вовсе бы ничего не знали. Жуковский в нем ценит “верность” изображения природы и “человечность”.

В те времена целы были еще дворцы Дрездена, картинная галерея Цвингер, терраса Брюля над Эльбой, где позже прогуливался тургеневский Кирсанов. Мирный, цветущий город, ослепительный искусством, так Жуковскому подходил.

В эти июльские дни встретился он в галлее с Сикстинскою Мадонной. Смотрел ее не один раз. Но однажды лишь, просидев перед ней час в одиночестве, ощутил как бы тайное вхождение ее, мистическую встречу. Полагал, что творение это есть видение Рафаэля, как бы запись посещения, и в тот удивительный, одиноко-счастливый час собственной жизни пережил это видение сам. “Гений чистой красоты” — слова Жуковского, Пушкин пустил их в ход позже.

Для Жуковского в тот час встреча с Мадон-

ною была не только встреча с красотой, но и с самим Божеством. Через картину открывался ему высший мир.

По террасе Брюля, как и Кирсанов, он гулял часто, Эльбою любовался. Как некогда Карамзин, она погружала его в мечтательные настроения. Да и родное вспоминалось — Белев, Ока, разные Темряни, Жебинская пустынь, Дураковская церковь.

Из Дрездена, всё на лошадях, с товарищем своим Олсуфьевым, двинулся он дальше, через Саксонскую Швейцарию к Карлсбаду, а там на Констанцское озеро и в Швейцарию. Ехали в коляске, иногда вылезали, пешком по тропинкам сокращали дорогу. Любовались видами диких Саксонских гор, полных разных легенд.

Тут же он рисовал: все хотелось запомнить и изобразить. Близ Бастей, над Эльбою, с высоты отвесного утеса разстилался перед ним Божий мир. Словами вполне живописными и взволнованными изображает он его.

“И над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить все, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась, и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба”.

Та же изобразительность, если не ярче, в описании Констанцкого озера.

... “Когда озеро спокойно, видишь жидкую, тихо-трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина

этих морщин кажется изумрудно-зеленою, и по ребрам их голубая пена, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синют, или кажутся дымными”

Так может писать только имеющий любовный, памятьливо-точный глаз — мир близок и прекрасен, надо все запомнить, ничего не упустить.

Началось путешествие по Швейцарии. Подымался он на Риги-Кульм, видел Чортов Мост, Сэн Готард, спускался в Италию до Милана, назад на Женеву. Побывал и в Шильонском замке, что дало нашей литературе “Шильонского узника”

На лоне вод стоит Шильон,
Там в подземелье семь колонн...

Из Байрона взял самую не-байроновскую поэму. Обратил ее в меланхолически-нежный вздох. Вот как написана смерть младшего из трех братьев-мучеников за веру:

Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко молчалив,
Столь безнадежно - терпелив,
Столь грустно томен, нежно тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне.... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах....

Легкая цепь смежных созвучий в четырехстопном ямбе с неизменными мужскими рифмами — впечатление ясной и прозрачной печали, включенной в удивительную гармонию природную. Все очень трогательно, но это уж не карамзинский сен-

тиментализм: эпоха Пушкина и Лермонтова. Ей Жуковский предтеча. Пушкин был еще полу-учеником, Лермонтов вовсе ребенком. Пушкин испугался даже, увидав, что некоторые строки “Братьев разбойников” его как бы и от “Шильонского узника”. (“Мцыри” всей поступью своею — при полной мужественности — тотчас вспоминается, как только берешься за “Узника”).

Из Вевз Жуковский проехал во Фрейбург, побывал в Люцерне, видел “Умирающего льва”, дальше путь его к Цюриху. Шафгаузенский водопад опять дал возможность блеснуть описанием (всё это, как и письма саксонские, направлялось Александре Федоровне. Всё было литература, вошло в собрание сочинений).

Путешествие же заканчивалось. Оно питало и укрепляло его, художника уже зрелого, в расцвете сил, силам этим давало новый уклон. Он узнал новых людей (среди них, хоть и мимолетно, самого Гёте). Видел новые страны, новую жизнь, испытал новые чувства. Осенью в Берлине оказался автором первейших пьес — “Орлеанской Девы”, “Шильонского узника”. Вряд ли в Белеве написал бы их. В альбомах сохранились и его рисунки.

Путешествием обязан он Двору. Двор его вывез с Александрю Федоровной, Двор разрешил и теперь провести остаток года в Берлине. Но никто не подумал в то время об одном странном влиянии, которое оказал Запад на Жуковского: он физически ощутил **невозможность** крепостного права. “Аннибаловых клятв” как Тургенев не давал, но вернувшись отпустил на волю своих четверых “людей”. Так что и дальше не зря именно он будет обучать будущего Царя-Освободителя.

М и л ы е с е р д ц у .

В повествовании своем поворачиваю назад, снова к Дерпту.

С самого переезда сюда начала Маша переписку с кузиною Дуней (Киреевской, позже Елагиной). Эти смиренные письма сохранились, на радость литературе нашей. В них нет горизонтов. События исторические — мимо. Лишь человек, его жизнь и томления, незаметное, как бы и бледное существование: но вот оно полно трогательности и значения.

Дуню она обожает с детства. Та живет сейчас далеко от Дерпта — в Долбине, в краях Мишенского и Муратова, туда все думы, чувства.

“Когда мне бывает грустно очень и неожиданно вдруг делается полегче, то я тебя благодарю за это; мне кажется, что в эти ужасные минуты мой ангел хранитель научает тебя за меня молиться”. Дуня более бурнопламенна. И тоже ее обожает — так всегда было. (“Помнишь ли, как ты боялась, чтобы тебя не спасли прежде меня?”) Быть спасенной в болезни, если бы Маша погибла, было бы для Дуни несносно. И в разгар тягостей и борьбы за свадьбу Маши с Жуковским предлагала же она — если венчаться им из-за родства грех, так она, Дуня, пойдет в монастырь, там бу-

дет замаливать прегрешение. Авдотья Киреевская такая и была. Половинчатости в ней нет.

Страстная, но и требовательная. В переписке местами есть ревность, шипы и тернии. Очарователен дух интимности. Маша называется иногда “Ге” — так прозвали ее дунины дети (будущие известные славянофилы). Вдруг появляется какой-то “Клушин” — будто фамилия, но это кличка, шифр выражает некоторое настроение души (“У меня нынче был Клушин”).

Дуня неодобряла, что Маша решила выйти замуж за Мойера. Жуковского она возносила не менее Маши, считала, что брак с Мойером нечто “против Жуковского”, вероятно и полагала, что за свое и его счастье надо бороться упорнее — если бы с нею такое произошло, вряд ли она уступила бы. Но у Маши иной характер, с детства слишком она в руках матери и слишком вообще в жизни из обреченных, ведомых на заклятие. Да и душевно у них в Дерпте всё было запутано.

Жуковский с Мойером подружились, всё желали друг другу счастья и все заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице? “Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что **не все трое мы найдем его**”.

Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера — это надо было придумать! И вот ровно на другой день пишет она в Долбино: “Дуняша, мне иногда, **часто** бывает тяжело, очень тяжело, но это пройдет”. Через два дня: “А ты, **моя душа**, ты всегда присутствуешь в хорошем и дурном, в радости и неприятности. Ты связана со всеми чувствами и любить тебя есть то же, что дышать”.

(В другом месте, о своем сердце: "оно твое крепостное").

Какой бы поток слов ни изливался, выходить замуж — хоть и за отличного человека, любя другого...

«Je t'avoue, Eudoxie, que le moment où je me suis décidé a été affreux, mais Dieu a tant fait pour moi, que je le remercie pour la résolution que j'ai prise».

Это апрельское настроение. И всё лето невесело.

Осенью еще хуже. Ряд писем Дуне и вовсе не отправлен, из-за грусти. А время подходит к свадьбе. В декабре 1816 г. брак ее с Мойером открыто уже возвещается — предсвадебные визиты и развоз карточек по бесконечным родным и знакомым Мойера — 278 извещений! "Сегодня приезжают к нам отдавать карточки, а мы сидим в задней комнате и погасили все огни в гостиной". "Как я ни уверена в своем счастье, но мне так страшно, что я бы рада совсем умереть".

С этим будущим счастьем, от которого лучше умереть, поздравляет ее некто, в церкви услышавший оглашение помолвленных — оттого и решился поздравить открыто. А она чуть не заплакала от поздравления — "отчего, сама не знаю. Дунька, дай Бог мне счастья, неправда ли?" К свадьбе должны съехаться безчисленные родные Мойера, из разных мест, даже из Выборга — кузен Тидебёль с женой и детьми, друг Цёкель и всякие еще другие. "Я готова закричать, как Варлашка*): "Боюсь!"

В январе 1817 г., чрез неделю после венчания,

*) Воспоминание детства: домашний шут у старого Бунина.

Маша пишет кухне, что в замужестве счастлива и для нее началась жизнь иная (преимущество перед прежней в том, что теперь рядом не сумасбродный Воейков, а тихий, ученый врач, деятель, музыкант, филантроп, но скорей “брат”, чем муж: Иван Филиппович Мойер).

Они поселились отдельно. Екатерина же Афанасьевна осталась, как прежде, со Светланой и Воейковым. Воейков от брака Машин был в ярости — его не спросили, это давало ей независимость и ослабляло его долю в управлении Муратовым. Да и вообще он разыгрался. Светлана запыривалась от его скандалов у себя, страдала молча. Но теперь и Екатерина Афанасьевна узнала, что такое оскорбления: напал он и на нее, требовал денег, а однажды изругал, как служанку.

Только с Машей ничего [уж не поделаешь. Это его злило. Маша теперь г-жа Мойер, живет в том же Дерпте, но в надежном укрытии, в крепко слаженном и серьезном доме. Туда в пьяном виде не ворвешься, безобразия не учинишь.

Дом и жизнь Мойеров были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбиных. Никакого крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распушенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие... — и серость.

С утра Мойер в университете, по больным. Маша работает дома, заходит “к маменьке”. В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием — дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. “Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезывает рак, четвертому прокалывает бельмо и всякий кричит на разные голоса”.

Между 4-5 Мойер запирается у себя “в горни-

це", готовится к лекциям. "В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу". Тут Маша читает — по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, всё как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже мойеровского. К этому Маша привыкла с детства.

Приходит Саша, любимая Светлана, "бостон, пикет, фортепиано". Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.

В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде, он свой и любимый, как всегда "непричем" у чужой, как-то устроенной жизни.

Его уважают и ценят и в обществе и в университете, и русские, и немцы (некий Зенфт выразился о нем: "Жуковский необыкновенный человек, *obgleich ein Russe*" — Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залётным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.

Иногда они проявляются.

Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается — еще пять, снова уходит. Снежком заезжает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. "У меня двести рублей, а у него только десять" — возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. "Да, у меня обе

ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?” Опять назад и еще пятьдесят.

Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли и Жуковский далеко ушел бы в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмахер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал. Выручка нынче была несметная.

А курляндцу продолжало везти. Через несколько времени у камня его остановился другой господин, в очках, с добрыми подслеповатыми глазами, в малых бакенах, с выбритыми усами и подбородком, в высоком галстухе и солидной шубе — нечто основательно-благожелательное. Тоже дал денег, потом посмотрел на ноги, задумался.

И очень скоро курляндец оказался в лучшей дерптеской клинике. Добрый Самарянин в очках устроил его там бесплатно. Вынужден был одну отнять, а другую лечил и вылечил. Его звали Иван Филиппович Мойер. Он был муж Маши и тот смиренный похититель счастья Жуковского, при котором надеялся тот создать счастье для всех троих.

Что могло выйти из этого счастья предвидеть нетрудно, но семейную и повседневную опору в муже Маша нашла.

Тем же летом и осенью много перемен произошло вокруг: Дуня Киреевская, после пятилетнего вдовства, вышла замуж за А. А. Елагина. Умерла Анна Ивановна Плещеева, жена “негра”, краси-

ца “Нина”, инициалы которой в двенадцатом году приняли подгулявшие помещики за наполеоновские. Воейков написал гнусное письмо Елагиным о Маше (будто она была любовницей Жуковско-го) и та две ночи не спала, всё плакала — потом простить себе не могла, что из-за этого столько страдала. Сколько Светлана плакала за эти годы мы учесть не можем — у нее характер оказался самый замкнутый, прежнее веселье девочки за-ключилось теперь в строгий образ страдающей сильфиды.

А Жуковский в это время то в Москве со Дво-ром Александры Федоровны, то в Петербурге, на-езжает и в Дерпт. Как всегда, за парадной сторо-ной его придворной жизни тайная и глубокая сер-дечная. Где бы он и Маша ни находились, чем бы ни занимались, они связаны подземно-неразрывно. Может быть, друг друга даже на расстоянии вос-питывают, возводят ступенью выше — и всё идет через острую тоску, сменяемую воодушевлением и вновь тоской.

Дуня Елагина в 1818 г. беременна и Маша пи-шет ей: “Благословляю твою пузу” — ей самой скоро предстоит то же, а пока она признается, что привязанность ее к Мойеру “не уравнивала ее чувств”. Это ее “благодетель”, благодаря ему обре-ла она некий “покой” — но не больше. Иван Фи-липпович этого письма не видал. Было ли бы оно ему приятно?

Но вот в следующем году самому Жуковскому Маша пишет уже в другом тоне: “Кто лучше меня познал совершенное счастье? Теперь каждое ды-хание должно быть благодарность.

..... Ты не можешь вообразить, как ты мне бесценен и как дорого для меня чувство, которое к тебе имею”.

А через два дня к Дуне вновь по иному. Здоровье “расстроилось” и Мойер велит ехать в деревню на поправку, но она не верит и не желает.

В первый раз слышится тут звук ее кратковечности. (“Одного только желать смею; **покою поскорее**”. «Une vie inutile est toujours trop longue»).

Вот заехала она, наконец, и в деревню Лифляндии, на отдых. Но не радуется. Все здесь не по ней. Нет русского помещичьего склада. Девушка, молодая женщина в Муратове или Долбине занята литературой, поэзией, музыкой — так было в “их” доме. Это несколько **над** жизнью, жизненное делают за нее другие. Тут же ей приходится стряпать на кухне, ключи от погреба и амбара у нее, она “жалеет” даже, что училась столько в свое время, а вот не умеет варить мыла и готовить паштеты. И вообще эта Лифляндия не по ней: скучно-немецкое и мелкотравчатое.

Странные мысли приходят теперь — о близкой кончине. Раньше этого не было. Кажется, что в Лифляндии ее позабыли, похоронили. Письма редки. Является горечь: “огорчить” бы их смертью! Но в общем покорность и смирение.

«Quand je pense que je dois mourir bientôt, je suis d'une indifférence étonnante pour le présent, il n'y a que passé qui prend tout mon cœur. Кто был так счастлив, как я? Как мне не благодарить со всяким дыханием Творца за жизнь? Правда, что она пройдет без пользы и без следов, но всякая хорошая мысль, хорошее воспоминание не есть ли крест на могиле?»

А между тем не только Дуне Елагиной, но и ей самой предстояло произвести новую жизнь. Вот конец марта 1820 г. и ее слова: “Знаешь ли

ты, что у меня в пузе шевелится маленькое творенье?"

Все эти месяцы ожидания новой жизни переживает она в мистическом смирении. Есть нечто от святости и самоотдания в ее отношении к младенцу. Воистину благоговейно приветствует она тайну. "Я его без страха пускаю в свет, потому что есть на этом свете **Бог, его создатель и вы, мои фонарики; вы и его жизнь осветите!** **Благослови же моего малютку на жизнь и обреки ему на крест свое сердце.**

..... Поручаю вам моего ребенка, вы отдайте его и Богу таким, как вы сами, а я без ропота, без страха отдаю себя во власть Божию. Прощай, благослови меня так, как я во все минуты жизни тебя благословляю!"

У ней такое настроение, что сама она уходит. В тихом восторге перед появляющимся существом она себя как бы отводит — ей будто и не дано жить с младенцем. Она переступает за предел. Но Жуковский, Жуковский! Этот души ее не покидает. В самые горькие минуты, когда "без ума грустно", она заберется в свою "горницу", скажет громко: "Жуковский!" и всегда станет легче".

С юных лет он процвел в ней обликом сверхземным. Лучше нет и не может быть. Оттого само имя его магично: довольно сказать "Жуковский" и мрак уходит — с какою простотой! Лучшее в нем сияет, но всё это и свое, домашнее, с детства любимое. Он для нее одновременно и Единственный и "дурачек", "рожица". ("Прощай, рожица! Люблю тебя").

В июне 1820 года, когда он собирался в первое свое странствие по Европе с Александрой Федоровной и в Павловске упражнялся в рисова-

нии видов, а Маша приближалась к торжественному дню появления младенца, так она написала ему: “Теперь только узнала я всю прелесть жизни и всю цену любви, но теперь же научилась знать настоящую любовь к Отцу моему. Признаться ли тебе? Когда я думаю о Боге, о всей Его любви к нам (ко мне особенно), то мне трудно воздержаться **просить** Его взять меня к себе, я чувствую какую-то сверхъестественную прелесть в мысли в с ё покинуть в ту минуту, когда жить так хорошо! Когда всякий звук есть гармония, когда ни одна печальная мысль не портит настоящего, когда в будущем ждешь и видишь одне радости! Я никогда Бога так не любила, как теперь. Получив от Него столько, мне бы хотелось в полной мере отдать Ему всё”.

Младенец мой! всякое его движение восхищает, возносит душу. Мне равно хочется остаться с ним и с вами, и возвратиться к Тому, который дал мне вас и его”.

Осенью того же 20-го года она написала Жуковскому же, за несколько дней до родов: “прыгун..... докладывается сильно, однако чаще приятно, нежели с болью”.

Это было начало путешествия Жуковского. Направляясь в Германию он заехал по пути в Дерпт, пожил там, повидал милых сердцу.

12 октября у Маши родилась дочь Екатерина.

**

“Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю... и как семя всходит, не знает он”.

Но когда зелень появится, и колос, и зерно, тогда всё ясно.

В годы Белева, Муратова Жуковский недаром учил и воспитывал сестер Машу и Александру - Светлану. Маша и Александра возрастали в духе любви. От Жуковского излучалось нечто. Он не навязывал, не принуждал. Но вот возрасли два юные существа, два духовных плода-отображения Жуковского, неповторимые, но и облики родственно-очаровывающие. И Маша и Светлана каждая сама по себе. Но в них Жуковский — светлым своим сиянием. Поэтому их жизнь — и его жизнь. Их томления — его томления. Их возношения души "горе" — его возношение, как и их крест его крест. Говоря о Светлане и Маше, говоришь о Жуковском.

Жуковский был крёстный Светланы, и дочери ее крёстный, любил ее нежно и вековечно (по другому чем Машу) — и пред ней всетаки был виноват: на брак с Воейковым не только мать толкала. Он и сам благословил, равно как Маша. Маша то безответна по девическому своему неведению. Жуковский всегда людей плохо понимая, он отчасти здесь жертва прекраснотушно мечтательного своего характера, всё же он взрослый, он и ответствен.

Светлана, которой сулил он всегда свет и радость, которая и была по натуре свет-радость — ей-то и выпала тягость главная. Вот пьянство и безобразия Воейкова, его скандалы (иногда и самоугрызения), обиды Маши, оскорбления Екатерины Афанасьевны, затруднения в университете, мучения с денежными делами — легконогая, с легким дыханием дева-Светлана (хоть и мать, но и дева) всё несёт на себе. Выезд ее к Авдотье Елагиной в 1818 году есть попытка вздохнуть. Но потом снова Дерпт — и теперь по другому. Жуковский, Тургенев устроили, наконец, для Воей-

кова нечто в Петербурге (службу, а потом участие в “Русском Инвалиде”). Надо из Дерпта трогаться. Но Воейковы кругом в долгах. Заимодавцы терзают, выехать нельзя. Светлана одна должна путешествовать в Москву к брату мужа за деньгами, чтоб хоть сколько-нибудь расплатиться. Кредиторы заставляют ее ехать на линейке, чтобы скорее съездила!

И съездила, все унижения претерпела, мужа, себя и детей вывезла. В Петербурге со всем гнездом своим вновь прильнула к Жуковскому — он как раз находился на отлете: только и успел познакомиться ее с другом своим Александром Тургеневым.

Много лет прошло со времени Благородного Пансиона. Из юноши, читавшего товарищам стихи Державина, Тургенев обратился в видного чиновника (Директор Департамента Духовных Дел). Полный, бурный, подвижный, увлекающийся и добрый — странный чиновник. Как и Жуковский, всеобщий заступник и ходатай. По нежности сердца и общему расположению особый друг женщин.

Жуковский, уезжая за границу, поручил ему Светлану. Тургеневу она сразу понравилась. “Светлана его вряд ли не лучше его стихов” — Тургенев тоже считает Светлану частью самого Жуковского.

В Петербурге Светлана свободней, чем в Дерпте: горизонт шире, больше людей. Впервые видит она близ себя человека блестящего, друга Жуковского, ласкового и покорного, очаровательно преданного ей. (Ее опыт в “любви” — лишь хромой Воейков).

Первые месяцы всё идет превосходно. Переписка с Германией оживленная. Жуковский очень доволен, что у Светланы с Тургеневым дружба.

Как всегда он приветствует возвышенные союзы душ, воображает то, чего хочется ему, а не то, что есть в действительности. Светлана слишком еще мало пылала. Любви не знала совсем. Тургенев знал, но слишком легко воспламенялся — бурный, полный, склонный к энтузиазму, склонен был и к глубоким чувствам. У Воейковых стал бывать постоянно. О Светлане писал, что “от Светланы светлеет душа”. “При ней цвету душою. Она моя отрада в петербургской жизни”.

Всё шло полным ходом — у Светланы повидимому также. В начале 1821 года она ездила в Дерпт к Маше, вернувшись болела в Петербурге (болезнь эта волновала Тургенева, вызывала нежность и боль любви). Еще по более ранним письмам его Жуковский почувствовал, что одной дружбой дело его со Светланой не ограничится. И предостерегал. Тургеневу для его же счастья надо уничтожить в чувстве своем всё, “что принадлежит любви”. Тургенев, прочитав это, задумался, но и усмехнулся: Жуковский равен себе, судит по темпераменту собственному. Уничтожить любовь! Тогда уничтожится счастье. Да и сам Жуковский, разве мог себя одолеть? Устроить всеобщее благоденствие?

Для Светланы дело стояло еще сложнее: она мать семейства, жена. Дочь Екатерины Афанасьевны, выросла в семье благочестивой и благообразной. Да и сама такая. По натуре с детства резва и шаловлива, но ученица Жуковского, и рядом с проказами, смехом, записаны в отроческом ее альбоме изречения аскетические.

Значит, надо бороться. Попытки она делает (старается не встречаться с Тургеневым. Это не удается, слишком обе стороны именно хотят видеться). Тургенев продолжает быть своим и за-

всегдаем в доме, читает со Светланой, ласкает детей. Но рядом Воейков. Отчасти он от Тургенева и зависит, тот могущественный его покровитель, но начинается ревность. По восторженному своему характеру Тургенев не всегда сдержан. Плохо собой владеет. В гостиной вдруг поправил рукой выбившийся у Светланы локон — Воейков закипел. И по городу начинают говорить о чрезмерной близости Тургенева к жене Воейкова.

Когда Жуковский возвратился из Германии (февр. 1822 г.), дело было в разгаре. Он застал не то, на что рассчитывал уезжая. Шел настоящий роман, со стороны Тургенева открытый, бурный, Светлана находилась в вечном отступлении и обороне, под перекрестным огнем. Воейков ей устраивал истории — и теперь некоторое основание имел. Мучил и Тургенев.

Жуковский сразу и довольно твердо выступил: дружба — да, любовь — нет. Убедившись же, что именно тут любовь, стал прилагать усилия, чтобы ей помешать. В глазах Тургенева вел игру против него. В этой борьбе, волнениях, иногда до пьянства — прошел год. Отношения их пребывали в хаосе. Но повидимому линия “закона” брала у Светланы верх — она дочь своей матери и дитя строгого душевного воспитания. (Запись в отроческом альбоме, из немецкого мистика: “Молись и трудись. Молчи и терпи. Улыбайся и умирай”). С Тургеневым она берет иной тон, он в отчаянии, упрекает ее, упрекает Жуковского, говорит резкости — только ухудшает дело, потом умоляет о прощении.

В марте 23 года Светлана уезжает в Дерпт к родам Маши — отъезд ее в большой мере устроен Жуковским. Тургеневу это ясно. Он пишет Жуковскому исступленное письмо. Обвиняет его в по-

собничестве Воейкову, в измене дружбе, предательстве, считает положение его “отвратительным” и порывает с ним. “Прости навеки”.

Вряд ли когда-либо получал Жуковский подобное. Ответ его неизвестен. Последствия со стороны Светланы были те, что это лишь отдалило ее от Тургенева. Встречались они теперь редко. Но вот в доме Карамзина Тургенев стал упрекать ее в холодности, она его в эгоизме и в том, что благодаря ему положение ее у себя дома ужасно — получилась “сцена”. Кончилось же тем, что она запретила ему бывать у себя: при всей мягкости своей вдруг поступила резко.

Тургенев впал в полное отчаяние. До нас дошли некоторые его стоны. “Люблю ее неизъяснимо и люблю попрежнему и сильнее прежнего”. “У ног ее прошу прощения, если любовь может быть виновата”. “Буду любить и помнить ее до гроба, любил, как никогда и никто ее не любил”.

Светлана записала у себя в альбоме: “Он сделал со мною то, что судьба сделала с Максом Пикколомини. Это чувство, такое прекрасное в моей душе. Он пробудил в ней глубокое чувство. Я ему простила, это не было мое лучшее чувство”. (Особенно мучило Тургенева то, что любимой женщине он не только не дал счастья, но был и причиной ее бед).

И вот нечто меж ними произошло. Она дала всетаки знак примирения и прощения. Было это и расставание, но в мире. Ту записку ее, как и миниатюрный портрет, он носил теперь на груди.

С Жуковским же не порвалось. В начале лета 25 г., оставив службу, Тургенев надолго уехал за границу. Перед отъездом написал два письма Жуковскому. Всё в них любовь — и к нему и к Светлане. Всё — просьба о прощении и забвении.

(“Прости мне последние два года моей жизни... “Скажи, чтобы она совсем простила и берегла себя для детей”). И всё о ней, о ней забота, о ее материальном положении, о детях, даже о библиотеке ее.

Светланы никогда более он не увидел. Считал, что любить ее будет “до конца жизни”, но повидимому ошибся. Слишком бурно все пережил. Выкипело раньше, чем думал.

Благородную же заботу о ней и делах ее сохранил до конца. Но уже “с того берега”.



В начале 1821 года Маша писала своей Дуне из Дерпта: “Прошлого году, в марте месяце, приносили студенты Мойеру виват, после которого поделались им бедным неприятности” (может быть, слишком шумели, переусердствовали в овации — подробностей нет). “Два из отличнейших, которые были вожди прочих, несправедливостью ректора попали в карцер. Они так обиделись этим, что выписались тотчас из студентов и один медик, по имени Зейдлиц, который был ассистентом мойеровым в клинике, остался бы посреди улицы без копейки денег и не кончивши своего экзамена, если бы Мойер не взял его к себе в дом, где он и поселился в апреле прошлого года”.

“Медик” этот был тот самый Зейдлиц, с которым познакомился Жуковский на фукс-коммерше уж довольно давно. До могилы предстоит ему сопровождать путь Маши и Светланы. Верный медик скажет в старости, что за всю жизнь выше и очаровательней этих сестер никого

не знал. В книге своей о Жуковском прославит всех троих.

А сейчас он скромный жилец в доме мойеровом, обожатель Маши. Называет ее Mutter Marie, обо всем с ней советуется, делится планами, дает чинить старое белье, сопровождает на прогулках. Разумеется, он музыкант. («Заиграл мой добрый Зейдлиц Thekla Geister Stimme» — это было осенью 20-го года, во время беременности Маши: навевал на мать и младенца тишину, детскость души своей). Надо думать, что просто глубокою и чистою любовью полюбил эту Mutter Marie, прелестнейшую из встреченных им женщин.

Мойеру не очень это нравилось. Но Зейдлиц не Тургенев, иное и соотношение его с Мойером.

Когда тому пришлось на некоторое время уехать в Муратово, то, чтобы его не расстраивать и вообще из осторожности, Екатерина Афанасьевна и Маша решили принять меры: Зейдлица отправили в Ревель, на родину. Он оттуда вернулся за несколько дней до приезда Мойера. Екатерина Афанасьевна впала опять в такое беспокойство, что заразила им Машу. Та изменила обращение с Зейдлицем. Его печаль даже испугала ее. С мужем, однако, она обо всем переговорила и медицинер ничем, в конце-концов, не смутил их налаженной жизни.

Да и не ему смутить. Та, вторая, невидимая жизнь Маши настолько была самостоятельна и глубока, так связана с Жуковским, что для нее Зейдлиц был, конечно, только милый ребенок.

Но другое существо появилось рядом — родившаяся девочка. Мистически переживала ее Маша, нося во чреве, мистически и теперь относилась. «Поверишь ли, я не просила у Бога Катьке долгой жизни, да и вообще ничего не просила,

ни счастья, ни здоровья, а только царства небесного”.

Окружающие ждали непременно сына и уже окрестили его Андрюшей.

“Все другие, кликав его девять месяцев Андрюшей, также не могут отвыкнуть. На молитве назвали ее Сашей, на крестинах Катей, а в моем сердце Дуняшей или Дашей. Когда очень люблю, то Дуняша, прочие же оба имени употребляются по будням и в праздники, ночью и днем, во сне и наяву”.

.... “Я еще ни разу об ней не молилась, мне страшно **самой** попросить что-нибудь у Отца для нее. Кажется, Ему она еще должна быть милее, как же мне сметь вступаться в Его виды? Я так уверена, что Он бы услышал всякую молитву”.

Марья Андреевна Мойер, бывшая Маша Протасова, теперь не такая, как была некогда дома, в Муратове: рисунок показывает несколько расплывшую женщину (она вновь беременна), спокойно полулежащую в кресле. На лбу **докон**, огромный узел волос на затылке, легкие кружева окаймляют шею. На ней просторное платье. Во всей позе и выражении тонкого, но и простого профиля с мелкими чертами лица (тонко рукой сестры вычерченного — Светлана отлично рисовала) — во всем спокойствие и задумчивость. “Да будет воля Твоя”.

Эта Мария Андреевна читает с мужем Клопштока, беседует о нем, соглашается или не соглашается, в четыре руки играют они на рояле Бетховена — личного знакомца Мойера! Как и муж, Маша за инструментом в очках. Как и он, тиха и благообразна. Но вполне ли спокойно ее сердце?

Вот Жуковскому, 1 февр. 21 г.: “Ты у меня в сердце так, как должно, в будни и праздники; но

прошедшее больше бунтовало, и Катька со своими голубыми глазами не всегда могла усмирить бурю”.

Авдотье Елагиной, 1 февр. 22 г.: “Жуковский возвратился... здоров и **старый**. Душа, ты можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катьку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла”.

А повседневно́сть идет. Мойер ездит на лекции, лечит больных. Зейдлиц делает люльку для сына Светланы — ожидающегося. Маша отправляет ее в Петербург сестре. А летом побывала Маша в родных местах. Это путешествие в некотором отношении замечательно.

В Белев Маша попала на рассвете — тотчас бежит к прежнему их дому. И поражена разрушением. Домик Жуковского с видом на Оку — и того хуже. Весь двор зарос крапивою, у забора ивы шумят, их она сама насадила в 1806 году. Слезы, волнение... — бросается на траву, плачет. Отворилось окошко наверху, в комнатке Жуковского: выглянул мужик — теперь помещался тут земский суд.

Она ушла, направилась к Оке, за город, где гуляла некогда с Жуковским. Подошла к самой воде. Солнце всходило, стадо паслось вблизи, кулички низко летали над песчаным берегом. Вот она вода, Ока, бывшее! Будущего нет. Да и жизни нет, она близится к концу. “Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни — но это чувство доставит мне счастье и там. Я окончила мои счета с судьбой, ничего не ожидаю более для себя и совершенно счастлива...”

Ей двадцать девять лет, она говорит, что “ста-

ра” и близок ее конец. Откуда это? Почему еще пред рождением Кати писала она, что ей жить недолго?

Все на родине ее волновало. В церкви, где восьми лет впервые говела, она упала в обморок. В Муратове писала в комнате Жуковского, побывала в имении Плещеевых — поклонилась могиле “незабвенного друга Плещеевой” и, конечно, опять размышления о смерти. Но потом всё это ушло. Побыли сколько надо в Муратове, медленно, длинно в Дерпт возвращались, и возвратились, и жили там целую зиму.

Г о р е.

Не томи ж по Креузе утраченной сердца.
Вергилий, «Энеида».

Жуковский возвратился из Германии в феврале 1822 года. Светлана встретила его радостно, почти восторженно, как и он ее. Поселились все вместе, не в Аничковом Дворце, а на Невском, напротив. Войеков получил через Жуковского выгодное место — издавал “Русский Инвалид” Материально Светлана была теперь устроена хорошо. Душевно — сложно и нелегко. Но все трудности с мужем ее и Тургеневым вывозил на своих плечах Жуковский, “украшение мира” (слова Маши). Когда он со Светланой рядом, ее дело прочно — он давал ей и легкость, и свет, и прикрытие от Воейкова. При мечтательности родственной предавались они воспоминаниям. Прошлое, молодость, Муратово, Белев... — все оживало и оживляло.

Созвездие удивительное: от Жуковского слава, художнический авторитет, Светлана — очарование женственности, изящества и привета. Завели как бы салон. Гости и друзья первостатейные: Батюшков, Гнедич, Крылов, Карамзин, Вяземский. Пушкина не хватало. В альбомах Светланы все знаменитости с автографами и стихами, но без

главной: Пушкин был холодноват к ней. (Стиль Светланы слишком для него заоблачен. Его занимали женщины попроще — вроде Керн).

Бывали и Баратынский, и Козлов. Позже Языков. Разумеется, вечный Тургенев. Светлана всех оделяла магической своею сильфидностью, лаской и светом. Это особенно ощущал Козлов, давний Жуковского приятель, несчастный поэт, сначала лишившийся ног, а потом ослепший. В салон Светланы вкатывали его на низком кресле, он смиренно въезжал в блестяще-изысканный этот круг. Смиренно-восторженно принимал ласку Светланы. (“День светлый, как душа Светланы” — строчка стихотворения его, Светлане и посвященного. Писание Козлова, возникшее из горя и шедшее на значительной духовной высоте, ею и поддерживалось, вдохновлялось. Он ее боготворил. Ангелом прошла она чрез его жизнь).

Воейков, мрачный “карла”, гнезвился вблизи, полный острых, мучительных чувств, то язвящий, то раскаивающийся, ревнующий, унижающийся, а то близкий к шантажу. Тайная месть сладка для таких душ. Когда на Жуковского появилась, наконец, очень злая эпиграмма, Воейков с восторгом прочел ее Жуковскому (другие считали — и это возможно — что сам он ее и написал: подпольем своим Жуковского ненавидел, конечно, как и Тургенева).

В этом 22-м году, если не считать трудностей и осложнений с Тургеневым, Жуковский жил мирно, скорей даже счастливо: так и сам полагал. Приехала из Дерпта Екатерина Афанасьевна. На лето все выехали в Царское Село, там Светлана родила сына (Андрея). Все с поверхности благополучно.

И в литературе удачно. Из Германии он при-

вез “Орлеанскую Деву”, охотно ее читал, с успехом заслуженным. (Пятистопный ямб, впервые без рифмы, был новшеством. Батюшкову, правда, не совсем это нравилось — размер находил он “диким и вялым”. Но все чувствовали, что и тон, и дух, и полнота написанного, и подходящесть сюжета — все это “чрезвычайно Жуковский”).

“Орлеанская Дева” сразу стала в первом ряду писаний его.

Но она создавалась до 22-го года и за границей. В год же приезда своего, в Петербурге, Царском Селе — с осенним наездом в Дерпт — пишет он нечто иное. Из “Энеиды” берет эпизод гибнущей Трои. Конь, хитрость греков, ночное пожарище и избиение, безнадежная борьба. Вот Эней видит, что нельзя более сопротивляться, на себе выносит престарелого отца, Анхиза. С ним жена Креуза, сын. В грохоте пожара пробираются они к выходу — там, недалеко, на священном холме собираются уцелевшие троянцы. Но вблизи ворот, в стычке с греками, Эней теряет Креузу — она гибнет. Он возвращается в город, ищет, томится... — лишь дух убитой смутно является ему среди ужаса происходящего — и напутствует нежно к уходу навсегда, с сыном и отцом, в дальний край:

О, Эней, о сладостный друг...

Долго изгнанником будешь браздить беспредельное море,
Там в Гесперии, где волны Лидийского Тибра
по тучным
Людным равнинам обильно медлительным током
лиются,

Светлое счастье и царский венец, и невесту царе-
ревну
Ты обретешь. Не томи ж по Креузе утраченной
сердца.

Быть при себе мне судила великая мать бес-
смертных;
Ты же прости; поминай о супруге любовью к
сыну.

И таинственно влечется Эней далее, к приключе-
ниям, новой жизни, под знаком вечных святынь
покинутой Трои. Креуза навек у него взята.

Так написал две тысячи лет назад Вергилий.
А мечтательно-тихий Жуковский склонился поче-
му-то, на границе 23-го года, вниманием и лю-
бовью к повести этой. Не разгром Трои и не убий-
ства, пожары его занимали. Всего лучше звучит у
него запредельный голос погибшей:

“Не томи ж по Креузе утраченной сердца”.

Наступил новый год. Рождение свое, 29-го ян-
варя, Жуковский праздновал весело, шумно, точно
бы ничего и не было. Через месяц отправился в
Дерпт (со Светланой, к родам Маши, но и увозя
Светлану от Тургенева).

В Дерпте чувствовал себя покойно. Прежнее
замирало, что-то он принял. Мойеры жили достой-
но, тихо. Нет волнений любви, труд, музыка, чте-
ние вслух, ребенок. А вот-вот будет и новый. Во-
ейковы поселились отдельно, Воейков держался
довольно смиренно.

Родной уют для Жуковского: все его любят,
в Дерпте много знакомых — профессора и худож-

ники, музыканты, студенты. Предвечерними зорями, уже весенними, с шоколадным снегом на улице, протыкающимся под копытами лошадей, при веселых лужах и воробьях, тучкой взлетающих с дороги, прогуливался он по мирным улицам города. Мартовский романтический закат, тихие зори. Возвратясь, мог застать Машу и Мойера за роялем, при свечах разыгрывающими сочинения мойеровского знакомого: Ван-Бетховена. Жуковский слушал и сам, а потом сам читал вслух.

Пригреваясь теплом милых сердцу, так ввопивших в Белевский мир и Муратовский, Мишенский, он засиделся, просрочил отпуск. Надо было уже уезжать — не хотелось. Наконец, день настал, ничего не поделаешь.

Лошадей заказали давно, выезжать надо вечером, от Мойеров. Все собрались. Вещи уложены, Жуковский в дорожной шинели, теплой шапке. Сидят, ждут. Уезжающий и накормлен, и все русские предотъездные чаи отпиты, разговоры переговорены. А лошадей нет. Начинают уставать. Рано встают, рано привыкли ложиться. Мойер зевает. Светлана, худенькая и некрепкая, бледнеет. Маша неестественно полна, в капоте — тоже погружается в туман.

Жуковский предложил Воейковым идти домой и проводил их. Вернулся, настоял, чтобы Мойеры шли спать к себе наверх, а он внизу подремлет. Когда подадут лошадей, зайдет проститься. Они взяли с него слово, что вот именно и зайдет.

Он уселся в шинели внизу и подремал — недолго, около получаса. Лошадей, наконец, подали. Поднялся, подошел к лестнице, скрипнул ступеньками ее и хотел было уж назад спуститься — жаль будить Машу. Но она не спала. Мойер похрапы-

вал в своем колпаке, Маша не спала. Он вошел в комнату. Маша хотела встать, он не позволил. Подошел, поцеловал. Маша попросила, чтобы перекрестил.

Он и исполнил. А она откинулась, спрятала голову в подушку.

Вот и все. Так попрощались, так расстались. А потом темная ночь, кибитка, ухабы, запах влажного меха, в который кутался, может быть и слеза украдкой — впереди дальний, скучный путь под вековечный русский колокольчик. Ямщики, станции, вспухающие речки, сырые сугробы — начинается распутица.

Был ли он покоен? Чувствовал ли что-нибудь?

Возвратился в Петербург 10-го марта. А 19-го посторонний человек сообщил ему, что в Дерпте накануне от родов скончалась Мария Андреевна Мойер. Ребенок родился мертвым.



Маша Протасова, “маткина-душка” его молодости, не была венчана ему церковью. Была, будто бы, для него “никем”. Но в каком-то смысле соединена навечно. Когда Лаура умерла, Петрарка продолжал свое, только вместо “*In vita di Madonna Laura*”, сонеты стали называться “*In morte di Madonna Laura*”. Жуковский просто замолчал. Зейдлиц считает, что с уходом Маши кончилась лирическая часть его писания.

Если это и сгущено, все-таки почти верно. За год до ее кончины написал он о Креузе. Как теперь “томил” по “утраченной” сердце, мы не знаем. Одиноких стонов его не слышно. То, что до нас дошло, уже настоящий “Жуковский”, непоколебленный, всё принимающий и всегда свет-

лый. “Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святыня”. “Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом — религия!”

Он, разумеется, снова в Дерпте, тотчас туда кинулся. Неясно, попал ли на похороны: скорее — нет.

“Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе. В поле играл рог. Была тишина удивительная. И вид этого гроба не возбуждал никаких мрачных мыслей”.

“В пятницу на Святой Неделе..... были на ее могиле”. Стояли на коленях — мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение “Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...” “Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертие стало понятней. Жизнь — не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение”.

Три дня перед отъездом его провели на могиле — сажали деревья, цветы.

Н о в ы е с у д ь б ы.

“Милый друг, Саша жива и даже не больна... мы вместе — это не утешение, но облегчение. На-счет ее здоровья будь спокоен, слезы лучше всякого рецепта. Но последнее сокровище ее жизни пропало. Этому ничто не пособит. Мы ни о чем не говорим, ни о чем не думаем, мы вместе плачем и все тут”.

Так писал он Козлову вскоре после смерти Маши. Вскоре же написал стихотворение — как бы надгробный ей памятник:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств.
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай спокойна.
Там все земные
Воспоминанья;
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес!
Тихая ночь!...

Стихи будто оборваны. Не о чем больше говорить. Сидеть со Светланой, плакать.

Он и затаился. Продолжал быть Жуковским: все делал, исполнял, как полагается, в обществе даже бывал оживлен и шутлив. Внутренно же менялся. Как бы отходил от себя, Жуковского-поэта. Не знал еще, что предстоит, но чувствовал, что нечто уже и ушло.

Бывалых нет в душе видений
И голос арфы замолчал.

Вернется ли, и когда? Неизвестно. Но пока что — молчание, тишина.

1823-й год для него полусон и неяркость, как бы летейское бытие. Наезды в Дерпт, уроки русского языка в. кн. Елене Павловне. Это и некая промежуточность. Одно кончилось, другое не начиналось. Надо влачить дни, выжидая дальнейшего, в настоящем же продолжая обычное.

Чем он далее двигался в жизни, тем обычнее становилось для него за кого-нибудь хлопотать, кого-нибудь опекать: чуть не вторая профессия. Пушкин в 20-м году чрез него уже прошел (и не раз предстояло еще проходить). Теперь очередь была за Батюшковым.

С Батюшковым он дружил давно. Еще в 1812 году, в мае, описывал ему в стихах собственную усадьбу, цветы перед домом, пруд, "швабского гуся" и купальню. Изящный, тонкий поэт был Батюшков. И как Жуковский предтеча: от него тоже взял каплю меда Пушкин.

В молодые свои годы Батюшков считался пев-

цом счастья, вина, языческого благодушия, а кончил... —

В 1818 г., при содействии Жуковского, получил назначение в Неаполь, в русское посольство — и уехал. В это время написал “Торквато Тассо” и уж мало радости звучало в пении его. (А истинный был певец, сдержанный, благородно-строгий). Любил Италию, переводил Петрарку и казалось бы, в посольстве, с Неаполем, Везувием перед глазами, жить да благословлять Господа. Но его ел недуг — тяжелая душевная наследственность. Есть указания, что осложнилось это позже тем, что он узнал о заговоре декабристов. Муравьев, родственник его, будто бы и самого его завлекал в Союз. Батюшков не пошел, но нервно столь расстроился, что Жуковскому пришлось взяться за него всерьез.

В мае 1824 г. он повез Батюшкова в Дерпт, к тамошним друзьям-врачам. Те посоветовали отправить его в Дрезден, в известную лечебницу Зонненштейна. Так и сделали. Все сделали наилучше, со вниманием и любовью, Батюшкова устроили, а судьба его оказалась — долгие годы неизлечимого безумия.

В Дерпте Жуковский жил могилою Маши (его “Алтарь”). Чугунный крест был им поставлен, с бронзовым по кресту барельефным Распятием. Что особенно Маша любила в Евангелии, то теперь осеняло ее — на плите вылито: “Да не смущается сердце ваше...” (Иоанн, 14, 1) и “Приидите ко Мне вси труждающиеся...” (Матф., 11, 28).

Тихо, покойно. Цветы, скромная ограда, скамейка. Кругом деревца. Рядом проезжая дорога, а за нею поле, простенькое русское (как и “русским” кладбище называлось), с жаворонками в майском небе, со светом и благоуханием весны.

Это идет Жуковскому. Уезжая из Дерпта, когда экипаж проезжал мимо кладбища, он приказывал остановиться, выходил, кланялся могиле земно, ехал дальше.

На этот раз, отослав в Дрезден Батюшкова, так же поступил. В Петербург ехал навстречу новой своей судьбе.

**
*

Император Александр слабел. Странно и загадочно складывалась судьба этого человека. Победа над Наполеоном, безграничная мощь, слава, восторг России и Европы, небывалые лавры — и медленная, отравляющая горечь, разочарование во всем, мрак, отказ от сияющего прекраснодушия молодости. Слишком ли он много видел? Слишком ли познал изнанку человеческой души — собственной в том числе?

И все в нем противоречие: религия, тоска по запредельному, путешествие на Валаам и сырая репка смиренного схимонаха Николая, а рядом в “жизни, как она есть” Аракчеев с военными поселениями, шпицрутены, Магницкие, Фотии, отставка Голицына...

Сама религия не утешала, или утешала недостаточно. Дело шло к концу, он задыхался — не так легко быть одновременно и “обожаемым” и соучастником отцеубийства.

Осенью 1824 г. он уехал на юг. 27 ноября в Петербург пришла весть о его кончине. Семья бурно переживала случившееся. Мария Федоровна лежала в обмороке, ученица Жуковского Александра Федоровна на коленях перед ней, в слезах (“Maman, calmez-vous...”), гигант-красавец, кому некогда представлял Уваров Жуковского у этой

же Императрицы — дрожащими губами присягал на кресте и Евангелии, а скончавшийся Император из своего Таганрога порождал таинственную легенду: вовсе он и не умер — старцем Федором Кузьмичем ушел в леса и скиты, разувшись в земном.

Это земное перешло на могучие плечи Николая Павловича. Из всех трех братьев наименьше походил он на отца — ничто от искаженного лица Павла I-го ему не передано. Здоровье, сила, крепость, красота... — Темперамент огромный, но и великая выдержка. Велика и сила глаз — прекрасных по рисунку, но иногда страшных. (Глаз этих все боялись впоследствии, от сановников до скромного Жуковского).

Все сложилось как надо. Не наследник Константин оказался царем (ему то в первую минуту и присягал в Дворцовой церкви Николай), а именно Николай: Константин в отказе упорствовал.

Ни тот, ни другой к царствованию подготовлены не были. Но Николай подходил к духу времени и обстоятельствам тогдашним: мощной фигурой своей что-то выражал.

К скипетру относился мистически. Приятие царства считал крестом, великим, но и тягостным. Долго убеждал Константина, но когда выхода не оказалось, непоколебимо принял власть.

С первого же дня путь его оказался грозным. Много спокойнее и проще было бы командовать, с титулом Великого Князя, каким-нибудь Гвардейским Корпусом, чем 14-го декабря отстаивать на Сенатской площади свой трон, жизнь и свою, да и семьи. Все-таки, раз уж взялся, выполнил изо всех сил.

Николая I-го любить трудно. Не весьма его любили и при жизни, и по смерти. Но и нелюбив-

шие не могли отрицать, что 14-го декабря показал он себя властелином. Личным мужеством и таинственным ореолом Власти действовал на толпу. Он — Власть. “Это царь!” Вожди мятежником могли быть и образованней его, и многое было правильно в том, чего они требовали, но у них не было ни одного “рокового” человека, Вождя. А Николай Вождем оказался. И победил.

День 14-го декабря не легко ему дался. Еще менее легко ученице Жуковского, Александре Федоровне. До вечера не знала она, будет ли муж жив. Если же нет, то и собственная гибель и гибель детей были более чем возможны.

Муж на коне свое дело делал. Она во Дворце молилась — и на всю жизнь остался у ней на лице, памятью этих часов, нервный тик.

Не меньше того, надо думать, переживал события и Жуковский, в двух планах сразу: в монархию верил свяшенно, тут никаких колебаний быть не могло. Заговор для него безумие, а заговорщики “злодеи”. (Драматическая черта: среди общников — Николай Тургёнев, к счастью за границей находившийся, брат покойного друга Андрея и живого — Александра. Этого уж никак он не мог счесть “злодеем” — позже за него хлопотал).

Другой план семейно-патриархальный. С 1817 года знает он Александру Федоровну, учит ее, с ней встречается в Москве рождение Александра, с ней едет позже в Берлин — Николай, Александра Федоровна для него уже часть жизни, не как Протасовы, разумеется, но зато в сияющем тумане царственности. Мальчику Александру написал он в Кремле приветствие, писал и Александру Первому, и на случаи жизни семьи царской. В царей врос, блеском, величием жизни их и ослеплялся и

воодушевлялся. Он как бы член семьи. Будто и на скромном положении, но при мягкости и очаровательности характера ему это в общем было не трудно (тем более, что ничего не добивался, ни под кого не подкапывался). Он с царями сроднился, их беда неминуемо обернулась бы и его бедою.

Николай победил, стал Императором. Тик на лице Александры Федоровны остался, но она тоже стала Императрицей, а ее сын Наследником.

Все это тотчас же отозвалось на судьбе Жуковского — смерть Маши и уход Императора Александра надолго определили бытие его. При Маше он был поэт, пел, любил. Хоть и говорил, что жизнь и “без счастья” прекрасна, но именно счастья и хотел. И поэзия, творчество являлись для него тоже счастьем. Он был поэт и влюбленный. Поэзия стихийно из него излучалась, как и любовь.

Но “это” кончилось. Начиналось другое. Не для себя, а для России теперь. Мальчику, тогда в Кремле появившемуся, предстояло сделаться царем. Кто будет его к этому готовить? Задача немалая. И родители, и Жуковский ее сознавали. На Жуковском и остановились. Он колебался — смущала ответственность и недостаток подготовки. Вместо себя рекомендовал он графа Каподистрию. Но Каподистрию не захотел Император. Решили попрежнему: быть Жуковскому главным руководителем Наследника.

Значит, не для себя и литературы и поэзии, а для России. Тогда не знал еще, что обучать предстоит будущего Освободителя — будущую и жертву.

Жуковский шел на это в настроении подобном тому, как Николай принимал трон. Размеры

иные, а суть та же: обязанность. Отказываться нельзя.

**
*

Печали, волнения этого времени действовали: весной 26 года Жуковский стал чувствовать себя плохо.

Он жил теперь в Зимнем Дворце, но высоко — сто ступеней лестницы. Подымался с большим трудом, задыхаясь. Лицо его отекло, пожелтело; отекали и ноги. От геморроя, потери крови он ослабел. Неважно и с печенью — врачи предписали Эмс. В мае выехал он во второе свое западное странствие. Должен был укрепиться, принимаясь за новое.

В Эмсе поселился с ним верный Зейдлиц. Жуковский пил по четыре стакана воды в день, брал ванны, занимался этим шесть недель с большой для себя пользой. Удержаться от туризма было трудно и окончив лечение проехался он на лошадях вдоль Рейна, чтобы “любоваться утесами с козел” (все-таки был довольно слаб и пешком ходить уставал).

А в России трагическая история с декабристами завершилась. Всю весну Николай сам вел следствие, потом был суд, их осудили. Летом пятерых повесили (царская семья тяжело это переживала), остальных сослали. Осенью Николай короновался. Александра Федоровна стала Императрицей. Незадолго пред коронацией Жуковский был прямо назначен воспитателем Наследника (мальчику исполнилось восемь лет).

Но жил Жуковский в это время в Дрездене, переписывался с Государыней — она и описала ему торжества коронации. Она же разрешила про-

вести зиму за границей для восстановления здоровья.

Отношения Жуковского с Императрицей своеобразны: конечно, он от нее зависит. Он бездомный поэт, она сила неизмеримая. Но она его бывшая ученица и он много старше ее. Тон его писем почтительный, все же местами почти наставнический. Опасается, например, что для Наследника зрелище коронации, торжеств, поклонений окажется не совсем полезным. “Он мог бы легко усвоить себе незрелые понятия о величии”. Ему надо внушать что “величие, чтобы не быть призрачным, должно казаться ему не правом его, а долгом, священной религией...”

В одном из дальнейших писем есть слова, особенно горестно сейчас звучащие: “Для Вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется религия сердца”. Религия сердца! Вот о чем тогда говорили, думая о властителях. “Ему необходимо иметь высокое понятие о Промысле, чтобы оно могло руководить всею его жизнью”.

Николай только что победил. В недалеком прошлом треволнения борьбы. Да, он царь, но ценою нелегкой. А Жуковский пишет в это время его жене: “Власть царей исходит от Бога” — да, разумея: “ответственность перед верховным судилищем”. Но не “мне все позволено, потому что я зависю только от Бога” — Жуковский, конечно, и благоговел, и трепетал пред Николаем, но вот не может и себя переделать: что считает истинным, то и говорит. (Позже приходилось и еще трудней, когда просил и ходатайствовал за недругов Государя).

В одном письме к Императрице он с большой простотою дает ей поручение, как равной или даже младшей. Ему отводили новую квартиру в Зим-

нем Дворце. Раньше там жил Нарышкин. Так вот пусть бы Императрица понаблюдала, чтобы Нарышкин уехал вовремя. А еще интересуют его собственные вещи: Воейкова (Светлана), с которой он жил вместе, тоже переезжает, вещи останутся без призора, хорошо бы вверить их во Дворце “надзору какого-нибудь честного истопника”. В конце-концов, это недалеко от того, что он мог написать в Долбино Авдотье Елагиной и Светлане в Петербург!

В путешествии нынешнем ему везло на художников. Еще в Эмсе встретился он с Рейтерном, близким знакомым по Дерпту. (Рейтерн этот был офицер. Под Лейпцигом ему оторвало ядром правую руку. Он стал рисовать левой, писал и красками, добился известных успехов, женился на немке, жил теперь за границей, преимущественно в Дюссельдорфе). Работы его Жуковскому нравились. Сам Рейтерн тоже. Но конечно, и в голову ему не могло придти, какую роль через много лет сыграет в его жизни дом этого “безрукого красавца”.

В Дрездене посещал живописца Фридриха, знакомого еще с первого путешествия. С ним единое настроение. После смерти Маши мотивы мистически-меланхолические владели Жуковским. Это выразилось и в собственных его рисунках: могила Маши, над нею крест — не раз он изображал это. Фридриху такое было родственно, он сам писал в том же духе. В бытие Жуковского вносил ноту романтики горестно-трогательной, нечто созвучное. (Картина изображает, например, кладбище вечером. У могилы ребенка, среди шумящих сосен, фигуры отца и матери, и т. п.). Жуковскому это нравилось. Он оказался даже отчасти покровителем Фридриха, и заказчиком. Заказал и

купил у него “Смерть на гробе” и “Жизнь на гробе”.

Всетаки, главное его дело теперь, когда здровье подправилось, была не эстетика, а подготовка к обучению Наследника. Начинаются всякие планы, расписания, таблицы — Жуковский верен себе. Еще в юности это любил, теперь же обучать надо не Светлану и не Машу, а будущего Самодержца Всероссийского. Вот пишет он Авдотье Елагиной из Дрездена в начале 27 года: “Работы у меня много, на руках моих важное дело! Мне не только надобно учить, но и самому учиться, так что не имею средства и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. Если бы вы видели, чем я занят и как много объемлет круг моих занятий, и как он должен будет беспрестанно распространяться...” — вот она, аскеза новой жизни, новое “послушание”. Не до стихов, не до искусства, когда надо выработать точный план, где все сходилось бы на его лекциях. Он центр, куда все остальное устремляется. Но на нем и сторона хозяйственная. Как всегда, в этом он точен, разумен и внимателен. Для Наследника надо закупать книги — составлять библиотеку. Нужны и учебные пособия, гравюры, карты, планы, глобусы. Все это за границею дешевле, и вот он накупает в Лейпциге и Берлине немецких книг, а для французских и английских собирается в Париж.

Зиму же проводит в Дрездене. Тут Александр Тургенев с душевно-больным братом Сергеем, тут же Е. Г. Пушкина, наблюдающая за несчастным Батюшковым в Зонненштейне. То, что живет Жуковский среди бед людских, в них входит, сколько можно облегчает — характерно для него. Дрезденская зима тиха. Малый круг друзей, знакомых, художники, работа, попечение о Сергее и Батюш-

кове — весной 27 года выезжает он с обоими Тургеневыми, больным и здоровым, в Париж, накупив в Германии книг для Наследника уже на 4000 талеров. Кроме того, составляет каталоги по истории, философии, литературе, педагогике, военному искусству, законодательству, правоведению..... — вспоминаются времена Благородного Пансиона с тридцатью шестью предметами обучения.

Все это будет приводиться еще в систему, разные concentрические круги поведут маленького Александра к средоточию истины.

А пока что в мае оказывается Жуковский в Париже.

К Франции и Парижу русские писатели всегда были неблагосклонны. Отзывы их часто высокомерны, говорят и о незнании дела (Гоголь, Толстой, Достоевский. Тургенев знал, но всетаки не любил).

Сказать, что благосклонен Жуковский, было бы слишком. Но к своему полуторамесячному пребыванию в Париже отнесся он очень внимательно и добросовестно. Многим интересовался, многое видел, встречался с людьми первосортными и оставил отзыв серьезный. Народ ему даже понравился — он его находил живым, впечатлительным, хотя более мелочным, чем русские. Побывал и в Палате Депутатов. К удивлению, что то здесь даже одобрил. После николаевского режима поражен был свободой, с которой говорили о власти да и о самой свободе — в сущности, здесь было то, за желание чего сидели декабристы в тюрьмах по Сибири. — Был во французском суде, в театрах, об Опере же сказал, что после итальянцев пение французов “кажется криком”. Побывал в разных благотворительных учреждениях, но стран-

ным образом Париж художников мало оставил в нем следа.

Встречался с Шатобрианом, Кювье, филантропом Дежерандо. И довольно близко сошелся с Гизо и супругой его, также с графиней Разумовской.

Париж довольно неожиданно принял Жуковского — он нашел здесь некоторый отклик настроениям собственным: Гизо и Разумовская, Александр Тургенев — все это родственный ему воздух, тот же мечтательный и возвышенный идеализм, религиозность не совсем близкая церкви, душевная установка на тишину и примирение, на приятие и оправдание жизни и смерти.

Смерть же ходила вокруг. На руках Александра Тургенева скончался Сергей, младший брат его, именно тою весной в Париже. Смерть подбиралась и к г-же Гизо, недалеко была и от графини Разумовской, в те дни державшей еще салон на 27, rue du Vas, в местах, позже прославленных Шатобрианом и Рекамье.

След грусти оставил в Жуковском этот Париж. Ему было хорошо и легко, светло и с Гизо и с Тургеневым, Разумовской, но печать брэнности, скорого навсегда расставания лежала на всем.

В июле он снова в Эмсе. Тут ждут грозные вести, все в том же роде: тяжело заболела Светлана, доктор Арендт предписал ей тотчас выехать за границу. (Светлана давно была туберкулёзная — теперь болезнь ее проявилась решительно).

В Эмсе Жуковский проделал второй курс лечения. Тут же узнал из письма Разумовской, что в Париже на ее руках и руках мужа скончалась г-жа Гизо — смерть эта была высоко-христианская, в духе и тоне самого Жуковского. ("Ваш бла-

городный гений нашел бы тут вдохновение, его достойное”).

А в сентябре свиделся он в Берлине, куда нарочно для того выехал, со Светланой, проезжавшей на юг Франции. Это свидание было недолгим. Ему путь на восток, к новому своему делу. Ей на запад. Между ними ложится вечность.

Светлана.

Было время, носилась в Муратове девочка Сашок, позже стройная девушка, облик легкости, света, милый домашний друг и летящий гений Жуковского — поклонница и усерднейшая переписчица стихов. В августе 1827 г. из Петербурга тронулась за границу очаровательная молодая женщина, мать троих детей и незадачливая мена — Alexandrine Voueikoff, "Светлана" — тяжело больная и несчастная.

Ехали в нескольких экипажах: сама Светлана с тремя детьми, гувернантка Miss Parish, слуги Лиза, Лизета, Лукьян: целый маленький двор. Путешествие медленное, для больной утомительное. До Риги десять дней, а там Кёнигсберг и немецкие дороги, гладкие, обсаженные итальянскими тополями. Есть в этих странствиях и минуты поэзии: где-нибудь на мосту через Одер, уже ночью, при звездах, из воды слабо отблескивающих — запах реки, теплый ветерок с полей сжатых, благоуханных. В темноте фонарики встречных и опять сумрачная дорога, слава звезд сквозь узор листья на тополях. Дети спят. Англичанка похрапывает. Впереди Берлин, дальше Страсбург, Лион и юг Франции: последняя ставка на жизнь.

Берлин пришел в половине сентября. В нем Жуковский! Этим все сказано. Не ошиблась Свет-

лана — в Жуковском никто и не ошибался. Он равен себе, ласков, заботлив, показывает Берлин, возит в Потсдам и Шарлоттенбург. С ним отдых и свет. Вместо пяти дней проходит десять, но и они прошли. Путь же далек. Светлана должна уезжать.

Нельзя сказать, чтоб легко проходило странствие. В Страсбурге, в самом начале октября, заболел сын Андрюша. Скарлатина! Месячное сидение. Гостиница, неуютность, отовсюду дует, холод... — ясно видно, как полезно это для Светланы с кашлем ее и температурой, болями в боку. В том же роде продолжается и впредь, темный ноябрь Франции, горы в снегу, сумрак и холод, Лион (этот город Светлане почему то понравился) — надо думать, само путешествие посократило ей дни.

Все же в начале декабря добрались до Иера, близ Тулона. Тут можно вздохнуть. По рекомендательному письму графа Строганова маркиза Борегар сдала Светлане два этажа “небольшого” своего дома (древняя римская башня) в оливковом саду, с дальним видом на горы и море, с апельсиновыми деревьями, беседкою в розах и “ясминах”. Хозяева приветливые, все готовое, покой и благоденствие Прованса, тихо, тепло. Светлана выложила свои книги — Монтень, Байрон, Фенелон, Гёте, Шиллер, Шекспир... — и русские журналы, альманахи. Появился и Зейдлиц, добрый дух местности: он заканчивал за границей учение медицинское, но не мог же оставить сестру Маши в болезни и на чужбине.

Из Иера Светлана много писала на родину, матери и Жуковскому, друзьям. Тонким пером зарисовывала в альбом виды Иера. И письма ее и рисунки сохранились. Они дают ощущение про-

зрачной, изящной и одинокой жизни, как бы в дали опаловой, с нотой грусти, иногда и надежды, иногда тоски и предчувствий. Прованс двадцатых годов, маркиза времен реставрации, маленький старичек-эмигрант революции, благоуханье апельсиновых рощ, доктор Аллегри, лечивший Светлану тем, что спальню ей набивал пахучими травами, давал пить ослиное молоко и заставлял иногда спать в коровьем стойле — это помогает от туберкулёза... Море говорило о широте, свете, счастья. И вначале Светлане действительно стало лучше.

Но весной ни ослицы, ни коровы не помогли. Она чувствовала себя плохо. Приближались жары, угрожающие для чахоточных. Пришлось трогаться дальше: предстояла Швейцария. Пришла и она. Тот же Зейдлиц привел весь караван в Женеву, устроил и водворил. Мелькнула опять надежда: горный ли воздух, прохлада, но снова Светлане стало легче. Ее женевская жизнь — проблеск. Изящество и спокойствие, книги, общение с выдающимися людьми — у нее бывали Сисмонди, старый Бонштеттен (влюбившийся в нее под конец). Вдали на горизонте Жуковский.

Но и Швейцария ненадолго. Осенью придется отступать на Италию, опять экипажи, дети, слуги и гувернантка — под команду Зейдлица (видно, он и совсем забросил на это время учение свое).

Италия по началу дала привет светло-очаровательный. «Дети ходили смотреть Борромейские острова, а как я еще не мастерица ходить, то я качалась в лодке, однако, в Isola Madre вошла до первых апельсиновых деревьев. — Вообразите вечер, как на заказ, самый бесподобный, озеро гладко, как зеркало; я лежала в лодке, Зейдлиц играл

на кларинете всю старинную, знакомую музыку! Солнце село и миллионы звезд загорелись, дети утихли и музыка тоже, и мы приехали в Арона в каком-то волшебном расположении”.

Были хорошие минуты и в Милане, но и смертельная усталость. В октябре 28 г. она уже в Пизе.

Почему выбрала Светлана древний, гордый гибеллинский город, в сумрачном величии которого столько трагического? Но там жили знакомые. Хлюстина, граф Ксавье де Местр. Будто не так одиноко. Да и рок сюда устремлял, без ее ведома. Дожди зимней Пизы, сырость, холод в огромных, изящных комнатах снятого дома... И наискосок Башня голода, где погибал в тюрьме дантовский Уголино.

Тут она угасала неудержимо. В Петербурге думал Жуковский, что она вот так, светло и незаметно, подготовившись к тому миру, перейдет в него. Но в действительности было страшнее. О, конечно, как христианская душа, много и долго жила Светлана с мыслию об ином мире — с юных лет тем же Жуковским наставленная. Все его примирение и приятие крепко сидело в ней. Но она была молодая женщина, любившая жизнь и красоту, и любовь (счастья в которой так и не было ей дано). В тридцать три года медленно, непоправимо близиться к могиле — это ли не Крест! Она не роптала. Но страдать всякому позволено. “Все плачу и рыдаю, и силы пропали; особливо по ночам, *ce n'est pas volontaire et cela dure des heures quelquefois*”.

Рисунок пером, ее собственный — комната в Пизе: огромная, светлая, с хрустальной люстрой, старинная роспись стен — колонны, гирлянды, на этажерке вазы античные, статуэтки. На постели в чепце больная. За одним столом гувернантка и

девочка побольше, за другим няня с маленькой. При этой-то люстре, в ночной пустыне и ждать часа последнего.

Накануне Нового Года она устроила детям елку, радовалась их радостью из-за подарков, все напоминало собственное детство и Россию — это и была Россия в Пизе. Даже и гаданье новогоднее устроили. Но тогда гадание Светланы было только страшным сном, окончившимся блистательно. Тут жених не приехал, да и о каком женихе речь? Вылитое олово указало дальний путь. Светлана поняла и поникла.

Дело же шло все хуже. В феврале Жуковский получил весть от Зейдлица, что конец близок. Он отправил Светлане необыкновенное, но для такого человека как он неудивительное письмо. "... Нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?... Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благословляю тебя!"

Благословляет на смерть. В лицо говорит о неизбежности ее. О детях пусть не заботится. И он, и Перовский, и Полина Толстая, и Государыня их не забудут. Все в порядке. В конце, снова: "Благословляю тебя покоряясь необходимости потерять тебя".

Другое письмо, через несколько дней: "Саша, мой ангел, может быть, ты уж стала ангелом во всех отношениях..." "Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем".

Этих писем Светлана уже не прочла — до них не дожила. Зейдлицу он писал, в то же время: "Последний год твоей жизни есть прекрасная свя-

тая эпоха: обещание, данное Маше, верно исполнено, у гроба сестры ее ты снова с нею встретился. Вы оба были подле нее представителями всего лучшего; она невидимо, с того света — **на свидание**, а ты при исходе из здешнего — **на прощание**”.

Из своего Петербурга он воспринимал удаление Светланы музыкально-поэтически. “Какая-то чистая музыка слышится, когда переносишься воображением в эту минуту. Для меня теперь все прекрасное будет синонимом смерти”.

Нечто и жуткое есть в последней фразе, но для повседневности и весь строй чувств Жуковского в этом случае жуток. Жуковский святым не был, но приближался к той грани, которая дает **право** прямо сказать о смерти и даже благословить на нее: для этого должно существовать незыблемое и глубокое чувство **того** мира, мира духа и света, исход в который из здешнего не только не горе, но радость. (Св. Серафим “наставил” умереть совершенно здоровую молодую девушку, ибо считал, что для ее судьбы это лучше — она и умерла, очень скоро). Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоящая родина Светланы.

Предсмертные радости ее были — письма из России, друзья здесь, да портрет Жуковского, всегда рядом на столике стоявший.

Смерть входила с великой торжественностью в молчаливый дом Пизы. (Жуковский знал, кому писал). 27 февраля утром Светлана почувствовала, что это последний ее день. В девять часов отрезала себе косу, завещая ее детям. В Ливорно послали за священником: хотела причаститься. За полчаса до его приезда велела поставить пред собой образ Божией Матери. Хлюстина читала

псалмы. Дети и домочадцы стояли на коленях.

После причастия и соборования она прощала и благословляла детей, благословила сына отсутствующего, всех родных и знакомых в России... — просто ждала уже конца. Дети приникли к ней. Она была в полном сознании, только слабея. Слышала, как пробило два часа. В руке у нее зажженная свеча, губами приникла она к Образу Богоматери. В комнате сдержанные рыдания.

С этого времени стала слабеть. Дети от слез и усталости задремали. Слышала, как пять пробило. “Умру ли я через два часа?” Ошиблась всего на полчаса. В половине восьмого сказала, что ей холодно. “Укройте меня” — но от этого холода никто уж не мог ее укрыть. Через несколько минут она отошла.

Ее похоронили в Ливорно. Жуковский так написал о Машинной и ее смерти: “Гробы их на их жизнь похожи: около одной скромная, глубокая, цветущая тишина, ровное небо, дорога, вечернее солнце; около другой живое, веселое небо Италии, благовонные цветы Италии”.

Н а с т а в н и к.

С осени 27-го года, вернувшись из заграницы, Жуковский живет в Петербурге совсем один, в Зимнем Дворце. Устроен отлично. Квартира изящна, светла, тепла. Есть в ней некоторая даже изысканность. В кабинете большой письменный стол — у него он писал стоя — на стене бюсты Царской фамилии, в углах комнаты слепки античных голов. Много картин, портретов близких и дорогих людей. В других комнатах библиотека (книг много), гостиная с большими креслами, есть где принимать друзей, устраивать литературные собрания (позже Гоголь читал у него здесь на вечерах “Ревизора”. Бывал и Пушкин, Вяземский — весь блеск литературы тогдашней).

Порядок в комнатах замечательный — это всегдашний Жуковский, с ранних лет.

Сам он теперь покоен, с наклоном к тучности, с не весьма большими, но живыми глазами на лице желтоватого оттенка. Часами работает в этой просторной и приятной раме. Пишет, однако, не стихи. “Былых уж нет в душе видений” — сейчас важны не четырехстопные ямбы (в этом изощряется Пушкин), а совсем другое: планы, пособия, наблюдение за лекциями Наследнику.

Послушание принято, надо его исполнить. Жуковский намерен обучать Александра по сложно-

му плану из трех частей. Первая от 8-и лет до 13-и — “приготовление к путешествию” (всетаки **поэт** сочинял программу!) — краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, иностранные языки. Вторая часть от 13-и до 18-и лет — собственно науки, излагаемые более подробно — само “путешествие”, развивающее зерно первой части. Науки разделены по собственной воле Жуковского на “антропологические” (история, политическая география, политика и философия) и “онтологические”, науки о вещи вне человека (математика, естественная история, физич. география, физика). Наконец, третья часть “окончание путешествия” — чтение “немногих истинно классических книг”, с целью моральной — образование “совершенно-го человека”.

Вся эта сложность и добросовестность, высокие замыслы и некоторая педантичность — опять таки Жуковский. Нечто и от его собственной молодости, обучения в Университетском Пансионе с тридцатью шестью науками и заданием создавать “добродетельных” юношей.

Император и Императрица план одобрили. Государь внес только свою черту: велел выбросить древние языки, терпеть их не мог, в детстве сильно и бессмысленно был ими намучен.

Как некогда у самого Жуковского, день у Наследника расписан по часам. Занятия, уроки, отдых, гимнастика, вечером “обозрение прошедшего дня и ведение журнала”. По воскресеньям гости — сверстники из выбранных родителями. Игры, танцы, музыка (к ней Наследник имел большое расположение).

Воспитанием заведует генерал Мердер, “воин” в духе Императора Николая, им самим и назначенный (он должен приучать будущего Импера-

тора к жизни суровой, чуть ли не походной — постель мальчика жестка, питание простое, игры чаще военные, и т. п.).

За Мердером Государь, за Жуковским виднеется Императрица — от Жуковского должна идти линия развития души, облагорожения ее высшими мирами. (Иерархически, при этом, Мердер был подчинен Жуковскому).

Разумеется, вывезена из заграницы целая библиотека, карты, планы, глобусы, пособия. Набран штат учителей из выдающихся педагогов и профессоров. Среди них и академики, как Коллинс (математик), и впоследствии очень известный П. А. Плетнев (грамматика и русская словесность). Закон Божий преподавал выдающийся ученостью священник, протоиерей Андреевского Собора о. Герасим Павский, назначенный самим Императором.

Всем этим распоряжается Жуковский, за все ответствен. Сидит на уроках сам, входит во все мелочи. Наблюдают и родители. Императрица присутствует на ежемесячных испытаниях. На полугодовых, более торжественных, появляется и Государь. Разумеется, они отлично осведомлены о ходе обучения, воспитания сына.

Летом все в Царском Селе. Тут для детей привольнее, конечно. Александру, Константину и Марии отведен был на пруду остров. Они сами насадили там деревьев и цветов, выстроили кирпичный домик, сдѣлали для него мебель. И уже позже, взрослым, Александр поставил туда бюст Жуковского — в воспоминание о счастливых днях детства.

Сколько можно судить, Наследник был мальчик живой, резвый, способный, иногда слишком

горячий. С самонадеянностью его приходилось бороться.

Но уж если Жуковский вошел в семью, то в ней прочно и остается, покоряя спокойствием своим, светом и благодушием. Теперь он врался и в младших. Судя по более поздней его переписке со всеми тремя детьми, строившими в Царском Селе домик, он являлся для них чем-то вроде дядюшки, не по крови, не совсем настоящим, но может и лучше настоящего. С одной стороны верноподданный (“верный до гроба Жуковский”, “целую Вашу милую руку” — Наследнику, 1844г.), с другой и наставник, непреложный авторитет. Того же Наследника учит, что Гоголю надо дать не 2000 в виде подарка, а 4000 в виде займа самому Жуковскому. (“Видно, вы не разобрали моего письма” — Жуковский с Гоголем сам устроится, а Наследник своих денег не потеряет. Тон письма очень вежливый, но такой, что отказать бывший ученик не может. Об этом и мысли нельзя иметь).

Как бы то ни было, даже пока они просто дети, заботы о них — главным образом об Александре — занимают его всего. Первые годы он ничего не может писать по своей части — тут не одна занятость, а и внутреннее изменение. Ни Маши, ни теперь и Светланы уже нет. Сам он тоже не прежний. Потяжелел, пополнел, в свободное время сидит на диване как турецкий паша, в изящной и светлой своей квартире, курит подолгу трубку, быть может мечтает. Но поэтической **остроты**, напряженности, беспокойства, стремящегося вылиться в стихи, ритм и рифму — нет. Некогда перевел он “Орлеанскую Деву” белыми стихами, но тогда писал и острое с рифмой. Теперь это ушло.

“Прощай навсегда, поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь”.

Если не вся, то конечно, целая полоса жизни. В этой полосе не только не писал он, но убавил даже переписку с друзьями, просил у них дать “отпуск насчет письменного молчания”.

И вот приближается 1831 год. Жуковский встретил его в одиночестве, перечитывая письма Маши. (“Это писала Маша, встречая свой последний, 1823-ий год”).

“Теперь пять часов, на улице все так тихо, вокруг меня все спит, мое сердце бьется, но спокойно и исполнено благодарности к Богу. Я вступаю в этот новый год с совсем особыми чувствами. Во мне столько бодрости, как будто я должен начать сам для себя новую жизнь”.

Точно бы то, что в свое время и очаровывало, и томило, мучило, но и наполняло жизнь питая творчество — ныне отошло, как бы заключено в хрустальном саркофаге. А его путь жизненный да и творческий идет самозаконно, прежним не управляемый.

Новогодняя бодрость не оказалась бесплодной. 1831-й год, по внезапному подъему творчества можно сравнить только с Долбинской осенью 1814 г. Но совсем все другое. Там острое, трогательное; музыкально-звнящее, в сложностях, блеске ритмов и рифм, здесь спокойствие. Зрелость художника уверенного, нет за сценой и кровоточащего сердца. Творчество просто как творчество: баллады и куски эпоса, и знакомые имена “из Шиллера”, “из Геббеля”, “из Уланда”. Затем русские: сказки — вот это для него новость. (“Царь Берендей”, “Спящая царевна”). Много гек-

замтра: прощание с молодостью и рифмой. Предвестие обширных писаний типа “Ундины”, “Наля и Дамаянти”, впоследствии “Одиссеи”.

“Война мышей и лягушек” именно гекзаметр. Вдохновлено это немецкой переделкой древнегреческого животного эпоса. “Войну мышей и лягушек” — вернее отрывок из нее — написал он с полнотою и благодушием, улыбкой и яркостью Жуковского, перевалившего за полдень. Очень хорошо и удачно, но без нее можно жить. Это не **необходимо** Жуковский. Как **не** необходимы для него русские сказки: мог написать, мог и не написать. Кажется, из всего в 31-м году возникшего, шиллеровский “Кубок” наиболее прикреплен к его сердцу. Любви не удержишь. За кубком бросается она на гибель — звук сильный и полный, бесспорная удача. В общем же в писании его теперь показан человек большого дара, ясный и спокойный, но как бы наставник юношества. Сегодня это “Суд Божий над епископом” (с детства знакомое... “Так был наказан епископ Гаттон”), там будет “Царь Берендей”, “Сид”, “Война мышей и лягушек” — точно бы и Наследнику, когда подрастет, читать эти отлично написанные и с оттенком “для юношеской хрестоматии” произведения. Так и случилось впоследствии.

Школа — и не только Наследника — во многом завладела этими его писаниями.

**
*

С давних довольно времен Пушкин явился на горизонте Жуковского и до конца не сходил с него. С ранних лет соотношение это: ученик и учитель. Пушкин младший, Жуковский старший — разница шестнадцать лет. Пушкин лицеист — рас-

цвет славы Жуковского. Но довольно скоро учитель признает себя побежденным — великая скромность, ум, беспристрастие Жуковского. Однако, и ученик побаивается “случайных” совпадений — в ритмах, оборотах (он очень был на Жуковском воспитан). До конца сохранит к нему высокое отношение, хоть временами могли и срываться слова дерзкие. Как бы то ни было, замечательный образец дружбы старшего с младшим. Полная иерархичность в искусстве и никакой зависти. Иногда недовольны друг другом, но всегда чувствуют, что недовольство второстепенно. Есть нечто важнейшее.

“Ты имеешь не дарование, а гений” — писано двадцатипятилетнему “повесе”. “Что за прелесть чертовская его небесная душа” — так повеса оценивает учителя.

К 1831 году в искусстве положение ясно: Пушкин зрелый великий художник, невероятный музыкант и волшебник слова, угнаться за ним нельзя — да и все растет он. Жуковский давно определился и входит в ровно-полуденную полосу пути. Теперь уже в искусстве нечему учить Пушкина. У него самого можно учиться, да главному не обращаться к Жуковскому за заступничеством, так все и осталось. В жизни Жуковский не вышел из положения учителя, наставника до самого конца. “Талант ничто, главное: величие нравственное”. Это он тоже давно Пушкину написал и на этом остался. Тут они несоизмеримы... “Предлагаю тебе первое место на русском Парнассе, есть ли с **высокостью гения** соединишь и **высокость цели**” (Он долго боялся, что Пушкин разменяется, что человек в нем не на высоте поэта. Как бы поэта не испортил).

Для Пушкина последняя ценность — искусство. Для Жуковского и над искусством нечто.

В 1831 г. оба они жили в Царском, укрываясь от холеры, встречались дружески и беседовали, даже одновременно взялись за сказки и соперничали в них. Но в жизненном Пушкин остался для Жуковского вечным учеником, за которого вечно приходится трепетать, иногда сердиться на него, чуть ли не в угол ставить. Не в 31-м году, а позже — но это не меняет дела — напишет ему Жуковский: "...Ведь ты человек глупый, теперь я в этом уверен". "Я право не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме ,или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение". (Дело касается бестактного, по мнению Жуковского, поведения Пушкина с Государем — за что Жуковскому, как всегда, приходилось расплачиваться).

Лето же 31-го года тем оказалось еще замечательно, что тут рядом с Пушкиным появляется при Жуковском новый "персонаж", довольно-таки замечательный: к нему тоже впоследствии прикрепились имя "гений" и его памятник в Москвѣ оказался недалеко от пушкинского.

Гоголь вынырнул для Жуковского из глубины своей Малороссии несколько раньше. "Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе уже совершившему полдороги на этом поприще". Произошло это, видимо, в 1830 году. "Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!" (Из позднего письма-воспоминания Гоголя). Жуковский сразу почувствовал в нем необычное — уже в начале 31-го

года Плетнев пишет Пушкину, обращая его внимание на Гоголя: “Жуковский от него в восторге”.

Гоголь тогда почти еще не печатался, но кое что было уже написано. Читал он вслух замечательно, занимался этим охотно. В литературном кругу кое кто его знал. Вероятно, он и Жуковскому читал ранние свои вещи (или давал рукописи — что менее вероятно).

Во всяком случае, с начала 31-го года он печатается, а к маю у него готовы уже некоторые повести будущих “Вечеров на хуторе...” В этом же мае был он представлен Пушкину на вечере у Плетнева.

За всеми жизненными делами Гоголя виден в это время Жуковский. Он направил его и к Плетневу и через него получил Гоголь место учителя истории в Патриотическом Институте (“для благородных девиц”). Жуковский же рекомендовал его Лонгиновым как домашнего учителя — Жуковский создавал ему вообще хорошую прессу, поддерживал и помогал жизненно. (В литературе наставником его, на первых порах, оказался Пушкин).

Летом 1831 г. Гоголь жил в Павловске, в скромных условиях — домашним учителем и воспитателем у Васильчиковых. Был беден, неважно одет, иногда читал свои повести приживалкам. Но не одним приживалкам! Жуковский и Пушкин недалеко — тоже, конечно, слушали. “Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я” — если и не каждый вечер — то все же собирались в это странное лето, когда холера косила, когда укрывались от нее три русских поэта в тишине Царского Села и Павловска, все много работали, все были разного общественного положения и возраста, все соединены одним — искус-

ством. Тут неважен потертый костюм Гоголя и общество приживалок. Важно, что двоим обеспечены памятники, а про третьего сказано:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...

Для Жуковского оба были “молодыми писателями”, один с гениальным даром, но без всякого духовного управления, другой просто талантливый малоросс (таким казался ему), который может до слез смешить, но всетаки он “Гоголёк”, пока только всего. К обоим старшим Гоголёк этот почтителен. Пушкин с ним очень мил и внимателен (что не часто случалось у него с молодыми писателями), но всю сложность, и путаницу, и трагедию будущую этого длинноносого учителя в потертом костюмчике с ярким жилетом ни Жуковский, ни Пушкин не чувствовали. В сентябре вышли “Вечера на хуторе...” Пушкин прочел, восхитился, но ничего кроме “веселости” не заметил. “Чертовский” привкус Гоголя прошел совсем мимо. Жуковский пленялся, конечно, стороной поэтической повестей этих, Малороссией и напевом их, внутренние же надломы и расщепления, терзания трагические были вообще ему чужды, как и стихия греха, зла. Правда, в Гоголе звуки такие были тогда еще слабо слышны.

Пушкин во всем этом ближе стоял к язычеству. Светлый аполлонизм закрывал от него дьявола. Жуковский, как христианин, видел дальше Пушкина — для него назначение человека, **делание** его, совершенствование и посмертная судьба самое главное. Для Пушкина человек — поэзия. Для Жуковского — Бог и поэзия.

В Жуковском совсем не было мутной и жут-

кой стихии дьявольской, природа его была не такая, но все отношение к жизни, искусству, религии было ближе — а впоследствии это еще усилилось — к неказистому “Гогольку”, чем к блистательному Пушкину. В то лето перед Жуковским предстали, в недопроявленном еще виде, два главных пути литературы российской: пушкинский, гоголевский. Художнически он ни по тому, ни по другому не пошел. Но путь Гоголя для души его было ближе, и не случайно, что начавшиеся с “рекомендаций” и “Гоголька” отношения перешли в прочную и глубокую дружбу, в связь внутреннюю.

Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видишь прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго.

**

1832-й год — некоторая заминка в жизни Жуковского. Переутомился ли он, засиделся ли в однообразных трудах, но здоровье его сдало. Появились неполадки в печени, отозвалось и на зрении: стал жаловаться на глаза. Как и шесть лет назад, пришлось ехать за границу лечиться.

Опять Германия, воды. Теперь он настолько слаб, что выехал не как обычно на Дерпт, а морем на Любек, оттуда в Эмс. Там лечился и поправлялся, и был так еще несилён, что для прогулок завел себе осла *Blondchen*. А ему уж назначили новые воды, серные — в скучном Вейльбахе, близ Франкфурта.

Туда приехал к нему, из замка Виллингсгаузена русский живописец Рейтерн с семьёю — тот самый одорукий полковник Рейтерн, с которым вместе жил он в Эмсе еще в 1826 г. и которому

покровительствовал при Дворе (заказы, вспомоществования). Этого Рейтерна Жуковский любил, а тот относился к нему восторженно. В Вейльбахе они поселились в одном “трактире”, это скрашивало Жуковскому “грустное затворничество”.

После Вейльбаха ему предписали Швейцарию — лечиться виноградом. Рейтерн отправил семью назад в Виллингсгаузен, а сам вместе с ним поселился в Верне, на Женевском озере, близ Вевэ. Предполагалось, что оттуда Жуковский уедет в Италию. Но когда время подошло, он раздумал.

Остаться же одному в Швейцарии тоже казалось жутким. И вот Рейтерн решил вызвать сюда всю семью, поселиться с ним вместе. Это Жуковского чрезвычайно устраивало. Г-жа Рейтерн приехала с тремя дочерьми (старшей тогда было тринадцать лет) и сыном. Поселились все вместе “в уединении” Верне.

Эта жизнь очень подходила Жуковскому. Друзья, благообразие и тишина Швейцарии, голубой Леман, горы, прогулки... Из воспитательного “послушания” Петербурга с заботами о преподавателях Наследника, о книгах и программах он возвращался к истинному своему призванию: поэта.

Рейтерны его обожают. Милая девочка Лиза смотрит на него с благоговением. По русски она не понимает, он для нее ein berühmte russische Dichter, но он то сам уж теперь силён по немецки — впрочем, о чем особенно говорить с ребенком — достаточно одного легкого и поэтического его присутствия.

Жуковский живет уединенно: за два месяца раз только был в обществе. Его общество постоянное Рейтерны, книги, горы, да озеро. Ежедневно уходит он в одинокие прогулки. От Верне по шосс-

се к Кларану, и в другую сторону к Шильону каждый из трех километров отмечен его именем — нацарапано на камне. Тут оживает в нем всегдашний Жуковский. И как в прежнем странствии живописал он словами Констанцское озеро, так теперь изображает Леман.

“День ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны.... — озеро дышит. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры”.

Тишина. Иной раз звук колокола, но мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход, горы безмолвствуют, воздух благословенный стекает к бредущему Жуковскому — пусть будет дальний лай собаки, одинокий человеческий голос в горах — все равно, не нарушить им великой безглагольности Природы.

Она настраивает на раздумья. Жуковский всегда к размышлениям был склонен, с годами философ в нем растет — позже в направлении религиозно-мистическом, сейчас преобладает натур-философия.

В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал, думал. История народов и история земли... И там и тут двойственно. То медленное и упорное, созидательное творчество, то буря и катастрофа. Незаметно и непрестанно произрастает нечто, а потом взрыв, “революция” и гибель. Вот видит он развалины горы — рухнув, она раз-

давила несколько деревень. Так случилось в плане космическом, и потом по развалинам опять порастет травка, жизнь снова начинается. Но в человеческом общежитии да не будет обвалов — пусть идет ровное, спокойное усовершенствование. “Работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, ты безопасно, без всякого губительного потрясения произведешь или новое необходимое, или уничтожишь старое, уже бесплодное или вредное. Одним словом, живи и давай жить; а паче всего блюди Божию правду”.

Эти свои настроения он назвал “горною философией” — и для внутреннего развития его, человека хоть и зрелого, но не окостеневшего, зима в Швейцарии с Рейтернами оказалась благоприятна. Он жил под благословением и в благодати. Писал же не только письма.

Занимал его Уланд, из которого он и раньше переводил. Но главное, взялся за “Ундину”

“Ундина” — повесть Ламотт Фуке, француза по происхождению, выросшего в Германии — третьестепенного романтика, писавшего фантастические романы. Одна только вещь резко у него выделилась: “Ундина”. Жуковского давно привлекало произведение это. Еще в 1817 г. подбирается он к нему, но тогда ничего не вышло. В 1821-22 г.г. познакомился с автором ее, но “Ундина” не двинулась: сам он еще не был готов, предстояло писать другое, по другому жилось и переживалось.

Никогда не знает поэт, когда, как произойдет встреча. Это дело таинственного подземного развития. Повод же подается извне.

Все так слагалось у Жуковского, что острота

и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебои, сложность ритмов, как и сложность жизни — все прошлое. В сущности, и сама жизнь — любовь к Маше, и смерть ее — прошлое, осталось одно воспоминание. В горных, медлительных днях Швейцарии как все прозрачно, покойно-грустно!" "Ундина", старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайный, ровно-волнообразный гекзаметр несет, как во сне. А за "Ундиной" Маша — слабеющая о ней память.

В Швейцарии написалась лишь часть произведения, но конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем вся "Ундина" — со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. (Оканчивал он ее позже, в России, в Элистрфере, недалеко от Дерпта (35-36 г. г.). Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы).

Память о том, что любил, уйти не может, но вот и она меняется, меняется и окружающее:

Как нам, читатель, сказать: к сожалению иль
к счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здесь разумею я
горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее
горе...
..... "Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как
свеча пред иконой
Ярко горит, пока догорит; но она и для них
уж
Все не та под конец, какую была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого

Между утратою нашей и нами уже протес-
нилось
Вот наконец и всю изменяемость здешнего
в самой
Нашей печали мы видим.....

Да, уже новому поколению будет он диктовать свои гекзаметры. Не напрасно явилась “Ундина” в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайна — внутренне связана с замирающей памятью о Маше. Сознавал ли тогда, в Верне, Жуковский всю важность задуманного и начатого? Как бы то ни было, за три года, что внутренне жил с “Ундиною” этой, вложил в нее столько прелести и поэзии, нежности, трогательности, столько ввел раздумий, воспоминаний, сожалений, что от бедного Ламотт Фуке осталось, собственно, название, да сюжет. А от Жуковского вся полнота и обаяние произведения.

**
*

В Италию с Рейтерном он всетаки попал, уже весной 33-го года — это была первая его встреча с Италией. Пробыл два месяца очень хорошо, возвратился в Швейцарию и тут еще два месяца в полном мире и благоденствии прожил в Верне со всей семьей Рейтернов, которые становились ему как бы своими. “Наконец, пришлось расставаться. Они улетели от меня, как светлые, райские тени”.

Он обещал, перед окончательным отъездом в Россию заехать к ним в Виллингсгаузен, где Рейтерн жил с семьей у тестя своего, Шверцеля.

И заехал, провел три дня в старинном замке — они прошли очаровательно. На прощание Лиза,

к некоторому его удивлению, кинулась к нему на шею и “прильнула с необычайной нежностью”. Ей было тринадцать лет, он расставался с Рейтернами будто и навсегда. Рейтерн “со своею кистью должен был оставаться на Рейне и был прикован к семье многочисленной; мне указан был Двор, и вся моя жизнь была предана безусловно одному, главному; казалось, что между нами не могло быть ничего общего, так же, как Рейну не можно было никогда слиться с Невой”. “Казалось, всему конец”. Внезапная нежность девочки его удивила, но в душе следа не оставила.

Всей судьбы своей он тогда еще не знал. В сентябре 33-го года он был уже в Петербурге, в удобной, спокойной дворцовой квартире. Опять литературе отставка. Достаточно хлопот и с Наследником.

Приближалось совершеннолетие его и характер занятий с ним менялся. С 34 года к нему назначили “попечителем” кн. Ливена, юридические лекции читал Сперанский, по иностранной политике барон Бруннов. Теперь уже взрослые — министры, ген.-адъютанты, представители науки и литературы составляли его общество — Жуковский на первом месте, конечно.

Заботы и занятия с Наследником настолько для него возрасли, что на в. кн. Константина Николаевича уже не хватало. К нему пригласили А. Ф. Гримма. (Павского же от законоучительства отстранили, по настоянию Митрополита Филарета. Жуковский о. Герасима Павского очень ценил, как и сам Император. Но с Филаретом бороться было трудно. Жуковскому пришлось уступить: Святитель обвинял Павского в “историзме”

преподавания, в разных “уклончиках”, неточных определениях, и т. п.

В 1835 году все это вообще кончилось. Наследник уже взрослый, обычные полугодовые экзамены миновали. В присутствии всей Императорской семьи, при профессорах, генералах, разных приглашенных придворных, высокий и красивый молодой человек с крупными чертами лица, горячий и увлекающийся, с оттенком романтизма и рыцарства, с бурным темпераментом — благополучно сдал последнее, как бы выпускное испытание. Учить его больше нечему. Жуковский остался при нем, однако, еще не один год, как бы “надзирателем за душой” — воспитателем в высшем смысле.

Прощание с Россией.

В 1831 году Жуковский написал несколько русских сказок. Писал их и позже. Одно время Гоголь вообразил, что Жуковский становится поэтом народа русского, отходя от Запада. При всем, однако, белевском своем происхождении, певцом России Жуковский не стал. Русский он, но не Аксаков.

И все-таки, весь 1837 год прошел у него под знаком именно России — не в творчестве, а в жизни. В эти месяцы ему была показана Россия в разных видах, и обширно, и глубоко, и величественно. Жизнь же его резко перегибалась к Западу.

29 января 1837 года он был приглашен на обед к Виельгорским, праздновали день его рождения. Многих пригласили. Пушкин должен был возглавлять писателей. Но приехать не смог — в этот день как раз умер. Жуковский еще накануне поцеловал холодевшую его руку. Около трех часов, в день обеда, Пушкин скончался и Жуковский долго сидел с ним мертвым, созерцая ставшее столь прекрасным его лицо.

Эта сцена прощания имеет, возможно, очень глубокий смысл. В тайне смерти в последний раз предстал Жуковскому облик России, гений ее, лучшее ее. Прощай! Смотри, учись и возвышайся.

“Какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что то похожее на видение, на какое то полное, удовлетворяющее знание” Прощай!

Невеселый вышел обед. Невеселое рождение Жуковского.

А потом все, как надо: и панихиды, и отпевание, и странные похороны. Уходившей любви своей и уходившей России остался Жуковский верен: был посредником между семьею и Государем, всячески защищал и поддерживал “пушкинское”, разбирал и бумаги его. 3-го февраля в полночь тронулись от подъезда сани, в сопровождении Александра Тургенева увозившие гроб Пушкина в Святые Горы. Светил месяц. Жуковский провожал их глазами до угла дома. За ним они скрылись. “И все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих”.

Пушкина похоронили, а жизнь продолжалась. Ее веления беспрекословны. Жуковский при Дворе, в распоряжении Наследника, теперь назначен ехать с ним по России, “сопровождать” — путешествие огромное и по пространству, и по времени.

Император Николай в расцвете. Долго ему еще царствовать. Россия в силе необыкновенной. Все стоит прочно и на месте, декабристы в ссылке, границы необъятны, поля плодородны, леса непроходимы, крестьяне покорны, Эту-то громаду и показать будущему царю — пусть ощутит и величие задачи и ответственность пред Богом (так всегда учил его Жуковский).

2-го мая целый поезд двинулся из Петербурга — в свите Наследника кроме Жуковского Кавелин, Арсеньев, Юрьевич, некоторые из сверстников и товарищей Наследника (гр. Виельгорский, напри-

мер). Ехали в огромных дормёзах, сколь возможно быстро. Россия разворачивала пред ними все разнообразия и сложности свои. Торжок, Тверь, Ярославль, всюду “восторги”, иллюминации, непрерывное “ура” — так намучившее под конец путников, что оно слышалось им как кошмарный звук даже тогда, когда и совсем тихо было. Сторона парадная — губернаторы, архиереи, предводители дворянства, обеды, приветствия, все это было невыносимо, конечно — Жуковский, по смиренному своему характеру, терпеливо “присутствовал”. Те же торжественные пошлости говорились что и теперь, при других политических устройствах. Но тогда было простодушнее и патриархальней. А иногда и трогательней. Нет сомнения: обаяние царя имело еще силу мистическую. В Костроме среди тысяч теснившихся на берегу Волги, чтобы видеть Наследника, многие часами стояли по пояс в воде: так лучше разглядят его в лодке.

Ехали очень уж быстро. Картины, впечатления сменялись, утомление было огромное — у всех, но не у Наследника. Он крепко держался. А Жуковский нередко дремал в коляске с полубольным Виельгорским. На кратких остановках едва успевал отписывать Императрице все о ходе дела. Впрочем, ухитрялся делать и зарисовки.

А Россия много предлагала замечательного. В Угличе видели Собор времен Михаила Федоровича, палату царевича Дмитрия, церковь построенную на его крови. В Костроме осматривали Ипатьевский монастырь — колыбель Дома Романовых. А там пошли леса, дебри, дичь Руси северовосточной: путь к Уралу. Вятка, Ижевские, Воткинские заводы — везде осматривали производства. В Перми первые и “оборотные стороны”: не

одни “ура”, но вот ссыльные поляки подают прошения о возвращении на родину. Раскольники жалятся на преследования.

26 мая, недалеко от станции Решоты, в тридцати верстах от Екатеринбурга, достигли высшей точки Уральского хребта. Начало Азии, Сибирь! Ни один еще из царей русских не видал этих краев. Будущий Александр Второй увидел. Вот и Екатеринбург. Тут показывает Россия мощь недр своих — Наследнику подносят изумруд небывалой величины, удивительные изделия из яшмы, малахита, мрамора. Но в мирных снах своих не видали путники того, что через восемьдесят лет прозойдет здесь со внуком ученика Жуковского.

От Екатеринбурга до Тобольска, по Сибири все было — широта, мощь, изобилие. Ни в Костромской, ни в Ярославской губерниях не видал Наследник такого склада жизни у крестьянства (да и у мещан, купечества): все несравненно полнее, привольнее, богаче. Правда, людей меньше, а пространств больше и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, объезжавшему свои владенья, что вот этот край так обогнал Россию европейскую и потому, что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа! Для будущего Освободителя впечатления поучительные. В биографию его они входят.

Он не даром провел годы с Жуковским. В век казарм и шпицрутенов взор его оказался устремлен далее, к свободе и милосердию. “Вышел сеятель сеять...” — посеянное Жуковским начинало всходить. В Сибири видели они много ссыльных, среди них и декабристов. Как всегда, здесь Жуковский был заступником и посредником в бес-

численных просьбах. Из Тобольска Цесаревич обратился к отцу в Петербург с ходатайством о смягчении участи их.

Из Златоуста спустились в Оренбург — Россия явилась экзотической: киргизская орда. Скачка полунагих киргизят на лошадях, верблюдах. Заклинание змей. Хождение босыми ногами по саблям. Видели дикую пляску под музыку на дудках и гортанную.

В Казани заинтересовал Университет. Но везде останавливались ненадолго. И вот катят уже в своих дормёзах к Симбирску, на остановках подзакусывают и дальше. Спутники разделились на “чайстов” и “простоквашистов” — партии враждебные. Одна заказывала на станциях чай, другая простоквашу. Жуковский больше действовал по пирожкам, главное же, изнемогал от усталости.

Около Симбирска ждала радость. В нескольких верстах от города нагнал их фельдъегерь, бурей несшийся из Петербурга. Поезд остановился. Наследник распечатал письмо от отца — просьба о ссыльных была уважена. Он вызвал к себе Жуковского и Кавелина и тут же на дороге сообщил им новость. “Все трое обнялись — во имя царя, возвестившего им милость к несчастным”.

“Одна из счастливейших минут жизни”, говорит Жуковский.

В начале июля добрались уже до хлебного, просторного Воронежа. Там нашел, наконец, Жуковский, подходящего себе сотоварища.

В самый день приезда Наследника жандарм явился в семью Кольцовых: губернатор требует к себе поэта. Сначала все всполошились. Но вызов был мирный и Кольцовым даже полезный: Алексея Васильевича приглашал к себе Жуковский. Два

воронежских дня он провел с Кольцовым — Кольцов и Воронеж тоже были Россия, густой, крепкий ее настой. Пили чай в купеческом доме, вместе разгуливали по городу, с Острожной горы любовались широкими видами, лугами, лесами дальними — той огромностью и мощью русской, что так чувствуется в Воронежѣ и его крае. Старина, Собор, св. Митрофаній Воронежский, св. Тихон Задонский... — а внизу под горой старые домики петровской слободы: иной мир, но История, Петр, судостроительство...

Всех удивлял и радостно здесь поражал Жуковский: придворный, близкий к Государю, а разгуливает запросто с сыном мещанина по городу, пьет у него чай. (Самого Кольцова Жуковский совсем поразил и пленил: позже в письмах он так к нему обращался: “Ваше Превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт”).

А добрый вельможа тоже рад был встретить, наконец, не губернатора, а своего брата-поэта, с которым можно поговорить о стихах, дать совет дружеский литературный, например, собирать народные песни. (Многим тогда это казалось странным).

За Воронежем стали приближаться к краям тульско-орловским, родине Жуковского. В Туле смотрели оружейный завод. Может быть видели (но, конечно, не заметили) какого-нибудь лесковского Левшу, подковавшего стальную блоху. А потом повернули на Белёв.

И ученик, и учитель имели к нему отношение. Для Жуковского это детство и юность, Александр в глаза не видал Белева, но там скончалась Императрица Елизавета Алексеевна, его тетка. По ней отслужили в Белеве панихиду, а места, где воз-

растал “любимый его наставник”, Александр посетил в духе паломничества. Был в доме его белевском, где в 1806 году Маша Протасова посадила во дворе ивы, а в 22-м, на рассвете, плакала в одиночестве на траве дворика.

Здесь временно расстался Жуковский с Наследником — взял краткий отпуск, чтобы повидать родных. И побывал в Мишенском. Волновался, может быть тоже и плакал, вспоминая ушедшее — лучшее свое время. Разрушений и перемен немало. Но осталось и старое, появилось и новое. Неподалеку, в Бунине, жила Екатерина Афанасьевна Протасова — из Дерпта вновь сюда переехала. С ней три внучки, дочери Светланы, Маши, теперь в том же возрасте, как тогда матери их. Жуковский среди этой молодежи, как бы предвозвестие Лаврецкого, возвратившегося к пенатам.

Из Калуги Наследник съездил в Авчурино, верстах в десяти по Оке вниз. Там имение Полторацких, на берегу Оки, славившееся образцовым хозяйством — Александру показали “молотьбу и веяние машинами”, сам он “попробовал английский плуг”. И во всяком случае должен порадоваться был и чудесной тишине местности над зеркальной дугой Оки, и огромному парку, и дому-замку. (Таким казался он, по крайней мере, мальчику, возраставшему в скромном имении наискосок чрез Оку и никак уж не думавшему, что более чем чрез полвека придется ему писать об этих местах в летописи жизни Жуковского).

Были в странствии Наследника и Малый Ярославец, Тарутино, Бородино — паломничества Отечественной войны. Все это была вновь Россия и вновь иная. А в конце июля Москва — самая

долгая остановка пути, и едва ли не самая трудная.

Москва была тогда царством знаменитого Митр. Филарета. Повидимому, все пребывание в ней Наследника прошло под знаком церковности и связи с прошлым. Остановились в Кремле. Александр ночевал в той самой комнате Николаевского Дворца, где родился. При нем неотступно находился Юрьевич, спал на том же диване, где некогда и кормилица. А Жуковский из того же окна, откуда девятнадцать лет назад поздравлял народ с рождением Наследника подымая бокал шампанского, теперь этим же народом любитя.

В самый день приезда торжественный выход в Успенский Собор. У входа Митрополит Филарет с духовенством в полном облачении, встречает Цесаревича. Можно себе представить, как гудел Кремль колоколами, сколько было блеска митр, риз, мундиров штатских и военных, сколькими хоругвями, какими многолетиями встречали ученика Жуковского! Сам учитель был очень взволнован. Улучив минуту, он так отписал Императрице Александре: "А когда мы вошли в Собор, где на моем веку совершилось уже три коронавания, где был коронован Петр Великий, где втечение почти четырехсот лет все русские князья, цари и императоры принимали освящение своей власти и торжествовали все великие события народные, когда запели это многолетие, столько раз оглашавшее эти стены, когда его повели прикладываться к образам и мощам, когда опять сквозь густую толпу он пошел в соборы Благовещенский и Архангельский и, наконец, на Красное Крыльцо, на вершине которого остановился, чтобы поклониться московскому народу, которого гремящее

“ура” слилось со звуками колоколов, то я, в сильном движении души... — пожалел, что ни Вы, ни Государь не могли этим насладиться”.

Плохо было, однако, то, что в Москве стояла невыносимая жара: в тени до 28° (Реомюра). А надо было непрерывно посещать святыни. Побывали в Чудовом, Донском, Симоновом и др. монастырях. Были в Звенигороде у св. Саввы. Съездили, разумеется, и в Троице-Сергиеву Лавру. (Там Жуковский так увлекся рисованием, приютившись под деревом, что пропустил даже появление Наследника).

“Нигде за все путешествие не уставали так, как в Москве”.

Но это еще не конец. Из Москвы двинулись на юг — Одесса, Крым, земля Войска Донского, опять Москва и только в начале декабря Царское Село.

Проехали 4500 верст, посетили тридцать губерний, получили в дороге 16.000 просьб (больше всего о деньгах — отсылалось губернаторам и каждому на раздачу по 8 тысяч).

Жуковский находил, что путешествие было слишком быстрым, Наследник “успел прочесть только оглавление великой книги”, но всетаки определил все это, как “обручение его с Россией”.

Разумеется, и его самого утомляла пестрота впечатлений, их отрывочность, казенный характер всего. Оценок личных в письмах мало. Но народ (“простодушный и умный”) понравился ему. Все-таки человек просвещенный и западник чувствует здесь в Жуковском — невежество русских в искусстве огорчило его (с удовольствием вспоминает только о суздальском купце Киселеве, у которого оказалась большая библиотека и картин-

ная галерея — да и то на киотах аляповатая позолота, по картинам бегали тараканы).

Как бы то ни было, ни раньше, ни позже не была показана ему такая панорама родины. Если для Наследника обручение с Россией, то для него самого прощание с ней.

Возвращение вышло странным. Издали, еще от Тосно, в сумраке вечернем завиднелось зарево над Петербургом. Горел Зимний Дворец. Там как раз жил сам Жуковский, возвращался теперь на пожарище. Разрушений было много, но его квартира уцелела. Он был смущен и в разговорах как бы извинялся, что не пострадал.

-

Елизавета Рейтерн.

...Отдых в Петербурге получился недолгий. Весной новое странствие, с тем же Наследником, теперь по Европе западной. И вот второй год он в движении — экипажи, гостиницы, дворцы, иностранные приемы, разговоры... Побывали в Берлине, жили в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции — скалы, озера, граниты, замок Грипсхольм со стариной и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут Наследник заболел. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.

От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33-го года. Он к нему отправляется, застаёт “в кругу семьи”. А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери, Елизавета и Мия, “расцвели, как чистые розы”. В Вевэ знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка “лорелейского” типа, мечтательная и нервная — поэзия, чистота, скромность...

Он провел у них несколько дней, а потом опять передвижения: всё теперь связано со здоровьем Великого Князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость -

меланхолия владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.

Был начат уже тогда перевод “Наля и Даманти”, но вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало ответствовала тогдашнему его настроению. “Камоэнс” Гальма пришелся как раз по душе. Им он и занялся, выражая свое в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.

Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камоэнс — великий в несчастьи своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета.

Торгаш Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына — тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камоэнсом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одинокого поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит!

Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегает молодого. Так ли ~~предназначен~~ он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно ли брать крест? Но тот энтузиаст:

О, Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим Создателем зажженный...

И далее:

Прекрасней лавра, мученик, твой терн

Тогда Камоэнс меняется: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда все хорошо, даже страдание. Ибо:

Страданием душа поэта зреет,
Страдание — святая благодать.

Квеведо не достиг цели. Камоэнс не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает — тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камоэнса — сияющая дева, все лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

Все это явилось теперь пред самим Жуковским, написано во славу и Поэзии и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопровождает. Поэзия, Религия — это слилось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?

“Камоэнс” Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.

С этим “Камоэнсом”, вероятно еще неконченным, попадает он в Рим. Весь январь 39-го года проводит в нем с Гоголем.

Гоголь теперь не тот “малоросс” 30-го года, “Гоголёк”, что читал приживалкам безвестные писания свои. За ним и “Миргород”, и “Тарас Бульба”, и “Ревизор”. В Риме, на *Strada Felice*, пишет он “Мертвые Души” и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, но грозное веянье славы и дорогая цена ее, как и Камоэнсу — ему предлежат.

А для Жуковского он свой, почти домашний, три года назад читавший на его субботах в Петербурге “Ревизора”, Гоголь, которого год назад он вызволил из денежных затруднений — Гоголь —

друг, такой же поэт как и он сам. Гоголь считал Италию родиной своей (остальное только “принилось”), Жуковский ее обожал. (“Я болен грустью по Италии”).

Их месяц январь 39-го года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже Наследника — гораздо, конечно, ему интереснее и плодоноснее бродить с Гоголем по святым и великим местам Рима, чем быть в условной и докучливой атмосфере Двора.

С Гоголем забирались они и в Купол св. Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанию. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее “сестрой поэзии”, а сам к этому времени вошел в зрелую, более покойную полосу рисования своего: после смерти Маши весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелесть видимости — пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волконской...). Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивляло его уменье, быстрота, с которой он действовал. “Он в одну минуту рисует их (“лучшие виды Рима”) по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо” — Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский - Рим — есть чем зажечься. Вот слово Гоголя: “Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и Боже! Сколько нового для меня... Это чтение теперь имеет двойное наслаждение, оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь

влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне делается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне...

Небесный посланник! Не впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. ("Что за прелесть чертовская его небесная душа" — пушкинские слова. Оба они теперь Пушкина оплакивали).

Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто винцом *Castelli romani*. Неожиданно глас судьбы — Николая Павловича из Петербурга: Наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.

Тут ничего уж не поделаешь — уехали. А Гоголь вновь осиротел, один остался на своей *Strada Felice*, где над раскладным столом с "Мертвыми Душами" реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал он из Парижа с двумястами франков, освящался им тоже к славе: (С 1902 года он и украшен памятною доскою: «Il grande scrittore russo Nicolò Gogol in questa casa, dove abito 1838-1842, penso e scrisse il suo capolavoro» — улица же называется теперь *Via Sistina*).

А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии все вращалось среди поэтов. В чемодане его лежал Камюэнс, в Риме остался Гоголь. "Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева" — запись Жуковского: 4/16 февр. 1839. Значит, ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нерви и Геную — путем столь очаровательным, (многим странникам русским так с юности близким).

В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.

Кто знал тогда Тютчева, как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный. Юного Пушкина назвал же он когда-то — и без оговорок — “гением”. Тютчева знал еще юношей. В пушкинский “Современник” Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь в Киавари был перед ним тридцатилетний человек, недавно потерявший жену. “Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова”, говорит Жуковский. А о нем самом: “Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу”.

**
*

Все дальнейшее, с ним и Наследником случившееся, относил Жуковский вполне к делу Промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и Наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима в Вену не так, как теперь бы поехали, а кружным путем через Лигурию — вероятно, боялись Аппенин под Болоньей.

После Вены Мюнхен, Штуттгарт, дальше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия — вот в Дармштадте Наследник знакомится с дочерью Великого Герцога, а Жуковский вновь попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему “светлым сном” — на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь

эта Лиза взрослая. Она образована и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец, благодаря Жуковскому, стал живописцем при Русском Дворе — этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.

Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало в нем, может быть и туманно, как сквозь сон напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Все прошло. Жизнь позади — в эти два дня опять играл Жуковский роль из будущих повестей Тургенева.

Вечерами сидели по семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделием. Жуковский столько видал на своем веку и стран, и людей, столько знал в искусстве, в литературе, сам являя Олимп литературный — рассказы его пленительны, да особенно еще, когда озарены нежностью зрелого человека к юности.

Можно представить себе как слушала его Елизавета.

— “И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы

только мне можно было позволить себе такого рода надежды”.

Расстался он с замком Виллинггаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом — все это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите Наследника, он сел на пароход в Штеттине — возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн: Жуковский называл его “мой Безрукий”).

Сам то он говорит, что эта встреча с Елизаветой в Виллинггаузене осталась только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, повидимому, преуменьшает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе “воспоминание” дало о себе знать. Он напомнил “Безрукому” о вечере в Виллинггаузене.

— Там я видел то, что мне вполне было бы счастьем, но увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но все будет зависеть от Елизаветы.

— Ищи, прибавил. — Если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.

На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить. Жуковский находился в России и должен наблюдать за учением младших Великих Князей, кроме того занят устройством своего “Мейерсгофского приюта” (имение, куда собирал-

ся переселиться). Где же тут “искать” любви рейнской Елизаветы?

Но все устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на Провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнамбулически — не знает сам, что играет.

Осенью, возвращаясь с годовичного поминовения Бородина, где когда то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. “Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом” — будто между прежнею его жизнью и новой проводилась “живая грань”.

Но вот самое удивительное — в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт с Наследником, брак которого со случайно встреченною принцессой Марией уже решен. Жуковский должен обучать ее русскому языку.

Начинаются новые странствия. Его личной воли в событиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король Прусский и Наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.

А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера, с пристани Дюссельдорфа.

“Безрукий” провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия — “Ася” Тургенева.

Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот обращается он к Рейтерну:

— Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастье жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его не возможно.

К удивлению его Рейтерн ответил, что вовсе не так невозможно. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.

— Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.

Тут же пожали они друг другу руки, Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить Провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе “да” — тогда и его судьба решится.

Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался и теперь одному ему, под теми же звездами, пред медленно уходящими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить

взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход неторопясь выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кёльна старинного с Собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. “И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы Провидение вынуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне”.

Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похоже на выздоровление. “Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек” — уже в Кобленце.

Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.

Получив разрешение от Государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.

Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко — более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. — И уж лучше тянуть, мечтать...

По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец, 3-го августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась матери на шею и почти призналась в любви.

Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.

— Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках его были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:

— Подождите, Елизавета, подойдите... Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.

Ответ был краткий, незамедлительный.

— Мне не о чем раздумывать.

И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.

**
*

До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дѣла, лишь тогда окончательно засесть на Западе.

Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41 года в Москве повидался с родными.

Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина

Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсгоф ни с какого конца неинтересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.

Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму — 115 тысяч — оставил трем дочерям Светланы.

Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника, Цесаревича Александра.

У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.

16 апр. 1841 г. Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью Великого Герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от Двора и Царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.

Неизвестно, был ли покоен внутренне. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается.

Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в “протасовской” линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.

А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того, что купил Мейерсгоф (Элистфер), приобрел еще — очевидно ценную по воспоминаниям — и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранении в Мраморном Дворце, до переезда в Германию).

В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил — угостил, между прочим, любимую его “крутой” гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный Дворец (не везти в Германию).

Одна — портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие — виды могил: дерптской ее же, ливорнской — Светланы.

Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. “Вот место, обожженное свечей, когда я писал пятую главу “Ундины”. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: “Терпи, терпи, хоть ноет грудь!”

“И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: “Вот, старый друг; подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!”

Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел,

опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.

— Нет, я с вами не расстанусь!

Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, писанный в Риме в 1833 г. Подпись под ним:

“Для сердца прошедшее вечно”.

Венчание происходило 21 мая 1841 г. в посольской русской церкви Штутгардта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.

Семья, Гоголь, "Одиссея".

Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.

По сохранившимся рисункам самого Жуковского — впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.

Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующися, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделялся "Наль и Дамаянти" — прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его, В. Княжне Александре Николаевне.

В посвящении этом есть тишина вечера и как будто счастье мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.

..... и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святыя написать...

В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и

..... на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла:
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... и я проснулся.

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в **такое** верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая... Есть, может быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).

Первый год их супружества был самым счастливым. 4-го ноября 1842 года Елизавета Алексеевна родила дочь Сашу. Тут-то и начались затруднения. Повидимому, появление ребенка надорвало силы и здоровье ее. Что произошло, в

точности неизвестно, да и медицина тогдашняя была очень уж приблизительна. Несомненно, все-таки, что надлом был. А с 1845 года, когда появился сын Павел, положение очень ухудшилось. Нервная болезнь возрасла, терзала Елизавету Алексеевну, изводила и ее, и окружающих. Мучили несуществующие грехи, казалось, что темные силы одолевают, она впадала в отчаяние. Для Жуковского наступило новое, странное и жуткое время, на которое, вероятно, менее всего он рассчитывал, вступая в брак. Вот как он об этом говорит: “Семейная жизнь есть беспрестанное **самоотвержение**, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ей”. Далее, позже: “Последняя половина 1846 г. была самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худа, как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой **противодействующей силы!** Воля тут ничтожна, рассудок молчит”

Без конца лечение, врачи, переезды — то во Франкфурт на Майне, то на воды, на курорты и все под знаком болезни, мрака. Вот в Швальбахе испугалась Елизавета Алексеевна подземных толчков (землетрясения) — опять все обострилось и вернувшись во Франкфурт она заболевает “нервическою горячкой” — последствия же ее жестоки. “Расстройство нервическое”, пишет Жуковский, “это чудовище, которого нет ужаснее, впилося в мою жену всеми своими когтями и грызет ее тело и еще более душу: нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из сердца все прежние чувства, так что она никакой **нравственной** подпоры найти не может ни в чем и

чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно для меня, что иногда хотелось бы голову разбить о стену!”

Так говорит Жуковский. Жуковский, всю жизнь стремившийся к миру и гармонии, в себе носивший и тишину, и благозвучие, на старости лет как будто нашедший пристанище верное — вот именно уж, **как будто**. Разбить голову о стену! Нет, не дано ему отдыха и в поздние годы. В юности все стремил к счастью сердца. Оно удалялось, неизменно воспитывало в покорности Промыслу, в жизни “без счастья”. Теперь как бы достиг он чего-то, основал, укрепил дом, семью, а внутри дома этого и семьи новая беда — для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

Еще до рождения сына, в менее тяжкую, но уже предгрозовую полосу писал он Императрице в Петербург: “верить, верить, верить!” Будто подбавлял себя, ожидая худшего.

Теперь, когда трудности развернулись, пишет Екатерине Афанасьевне в Россию: “Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании” — в свое время Екатерина Афанасьевна дала ему возможность изучить страдание вполне. Сейчас она доживает дни в прежних родных местах. Он продолжает: “.... Но это одно убеждение ума — не чувство сердца, не смирение, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только не роптать, и от этой беды еще Бог меня избавил!” Хорошо, значит, то, что хоть смиренно переносит. А уж что переносит, это самоочевидно.

Тут-то, в разгаре болезни, мучаясь и тоскуя, Елизавета Алексеевна вдруг решила перейти в католичество (она была лютеранка).

Несомненно, это намерение родилось из страданий. Казалось ей, что она погибает, вот, может, спасение придет от католицизма?

Можно себе представить, насколько Жуковскому тягостно было и это. Он проявил упорство, сопротивлялся. Рейтерн поддерживал его. Совокупные их усилия, или самый ход желаний ее (болезненно возгорелось, недолгим и оказалось) — но Елизавета Алексеевна в католичество не перешла.

**
*

Блаженный месяц Жуковского и Гоголя в Риме не повторился. Но жизни их и судьбы сближались. Гоголю предстояло еще счастье Рима, счастья великой работы в нем над “Мертвыми Душами” — в творении этом таился, однако, уже яд, понемногу его отравлявший. И с некоего времени он Рим покинул, в растущей тревоге, болезненности и пустыне внутренней начал свои скитания — неудержимые и неутолимые, как неутолимы были приступы его тоски.

Много европейских городов, курортов, вод видели это болезненное существо, в котором все сильней укоренялось ощущение избранничества. Ему доверена истина, он должен поднять людей, научить, спасти... — при том сам как раз начинал погибать. Странствуя старался выбрать места, где есть кто-нибудь из подходящих русских. Жуковский был ему особенно дорог.

Жуковский переводил в это время “Одиссею”. Писание не мучило его, наоборот, облегчало. Правда, писание это второй линии, не гоголевское. В переводе “Одиссеи” была явная осуществленность.

Дело несравнимо более скромное, хотя относился к нему Жуковский с великой серьезностью, почти священнодейственно (и полагал, что “Одиссея” эта — главное, что от него останется). Гоголь с “Мертвыми Душами — особенно со второю частью — вполне священнодействовал, притом цель ставил неосуществимую. Заранее можно было сказать, что летит в пропасть.

Оба много в эти годы страдали, по разному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз “Выбор Креста”). Литература освежала его, укрепляла.

У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством. Он такой же монах литературы, как Флобер, но и учитель жизни. Его окружал воздух трагедии. Жуковскому трагедия не подходила.

Жуковского этого времени видишь пополневшим, с лицом, может быть несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза — они уже находились на границе болезни, начиналось недомогание. Он носил очки, сильно довольно горбился, но за своим бюро, в светлом кабинете, работал стоя попрежнему, все так же предан труду и неутомим, как и у постели больной Елизаветы Алексеевны. “Одиссея”, хотя и с перерывами, но неукоснительно подвигается — дело здоровое и верное.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жилетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем. Он вечно спешит, все надо куда то ехать, демон тревоги гонит его. Над ним великое дело, он чувствует необъятность задания, необъятность призвания сво-

его и слабость сил. Он хилый. У него холодеют руки, вечная история с желудком (полагал, что пищеварительные его органы устроены по особенному, не как у людей. Да и вообще считал себя особенным — в чем был и прав).

То живет в Бадене, то в Греффенберге, в Карлсбаде, то едет в Париж, то во Франкфурт, а то и вновь в Рим, но теперь прежнего светлого, творческого Рима нет уже для него.

Во Франкфурте поселяется у Жуковского. Жуковский достает ему денег у Наследника, Жуковский ухаживает, конечно, за ним — для него он попрежнему “Гоголёк”, но сомнения нет, что к тревогам и мучениям с женой прибавились теперь и сложности с Гоголем.

Гоголь нередко гостил у своих друзей и в России, и за границей. Везде он собою заполнял все. Он центр мира, к нему все должны стремиться, ему служить. Он давно назван гением — значит, все и дозволено. А теперь к этому присоединяется страсть учительства. Он в разгаре “Переписки с друзьями”, в настроении этой поразительной книги, где детские страницы перемежаются с гениальными, где все “выпелось” из души, все значительно и необычайно, даже нелепое.

А Жуковский тут под боком. Пишет свою “Одиссею”, читает песни ее вслух Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею — тот пишет даже статью об “Одиссее” в “Переписке”, ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочется и учить Жуковского. Завладев многим в повседневности дома, хорошо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный — письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так бо-

гато награжденный Богом (талант, известность, семья в старости), все же “не может переносить и малейших противоположностей и лишений”. Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к Богу — с просьбой, со слезами... — “и — вы их победите”. Достаточно обратиться к Богу с письмом Гоголя и все будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется “преlestью”, явлением болезненным: это не настоящее).

Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал все это. По крайней мере отношения их не только не испортились, а наоборот укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друга друга поддерживали.

Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый, чужбина... “Одиссея” же и вообще на любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по русски не понимала. Были слушатели, которые могли заслонить толпу: Хомяков, Тютчев, но они залетные, случайные. Гоголь же рядом, и не только по части “Одиссеи”, но и вообще в главнейшем они близки.

Когда вышла в свет “Переписка с друзьями”, одиночество Гоголя тоже возросло. Все бранили ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность. Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал, в течение его жизни, материально. Теперь, в горькую полосу поношений, зашуваний, одиноко и верно заступился за него. Лишний раз показал при том, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писа-

тель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), на много обогнал в суждении о “Переписке” век свой. Не все было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.

**
*

Первое чтение “Одиссеи” связано с молодостью, июньскими днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Покачиваясь в гамаке, покачивался в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая — древность смягчалась в ней веянием новым.

“Не совсем Гомер”, думалось, вспоминая недавнее еще, ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И при том перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой где добавлением, кой где облегчением дается иной оттенок и целому.

Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и “душевнее”, ибо прошло сквозь христианское сердце.

Все это подтвердилось, когда через сорок лет эту же “Одиссею” пришлось перечитывать светлую осенью под Парижем, и тоже в деревне — тут уж сличались и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.

Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему “Одиссею” — собственно даже не перевел, а над каждым словом гомеровым надписал соответствующее немецкое.

Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался “угадывать” Гомера. Точнее было бы сказать:

и угадывать и самому что то говорить, Гомером пользуясь — так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло его так привлекать теперь в “Одиссее”? Не язычество же ее и не “возлежание” Одиссея в странствиях то с одной нимфою, то с другой. Разумеется, близок “дух поэзии”, то “чудесное” восприятие жизни, какое есть у Гомера — одновременно нравилась и прочность уклада: это близко было в “Одиссее” и Гоголю. Все “правильно”, основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз и приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть “избранных” — все хорошо. Гоголь недаром писал в “Переписке” об “Одиссее” — полагал, что для русского общества будет она откровением и поучением. Ему представлялось, что он сам ведет это общество ввысь “Перепискою”, Жуковский же “Одиссеей”. Ни то, ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние же их на современников было: для Жуковского нуль, для Гоголя минус. (“Благодетельный” помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от “домовитого” Одиссея, но ни тот, ни другой к России не привились. Никого в России “Одиссея” не воспитала. “Переписка” же только разожгла злобные чувства. Ее оценка пришла позже).

“Одиссея” писалась семь лет, с 42-го по 49-й. Последние двенадцать песен создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.

“Одиссея” была для Жуковского формою жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое значение, считал, что это главное, остающееся от него (в чем всетаки, прав не был, хотя в некотором смысле и является

“Одиссея” его саролавого. Но если бы лишь она одна от него осталась, знали ли бы мы облик Жуковского, как теперь знаем по лирическим и интимным стихам?)

Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. “Переписка” сердила, “Одиссеи”, как будто и не было. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчание. “Почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что же просто читатели?”

Но под ним почва прочная. “Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно), работаю над “Одиссеей”, я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом — этого весьма довольно”.

“Для чего я работал? Уже, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда” (Зейдлицу, позже). “В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание”.

**

Еще ранее, прежде чем кончил он “Одиссею”, на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсе. Даже Мойер вышел в отставку и жил в Бунине, Орловской губернии, доставшемся ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя и теща Екатерина Афанасьевна. Дуня Киреевская, милый друг юности, теперь Елагина, давно уже немоло-

дая дама, умница просвещенная — у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.

От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской, национальной и духовной. А от второго сын Василий — назван, разумеется, в честь другого Василия, “Юпитера моего сердца” И вот в 1845 году получил Василий Жуковский известие, что за Василия Елагина выходит замуж Катя Мойер — эти Вася и Катя тоже дальние родственники, тоже восходят к прадеду Бунину. Многие могло вспомниться Жуковскому, при известии этом, из его собственной юности.

“Благословляю ее образом Спасителя, который должен находиться между образами Екатерины Афанасьевны, и которым благословил меня отец” (*). К самому браку отнесся он торжественно, в соответствии с общим своим духовным состоянием тогдашним. День венчания знал. В час, когда по его представлению должно было оно совершаться, стал с женой и детьми на молитву. Коленопрёклоненно молились они о счастье новобрачных, “читали те места из Св. Писания, которые произносятся при совершении таинства и после того несколько строк из немецкого молитвенника”

Молодые устраивают свою жизнь, старые удаляются. Умирает в Москве друг юных лет, прошедший и чрез взрослые — тучный, живой, добрый, влюбчивый Александр Тургенев. В 1848 году уходит Екатерина Афанасьевна и век самого Жуковского близится к исполнению.

48-й год для него нелегок. То, что утробно он ненавидел — революция — прокатывается по

*) Единственное место из всего, написанного Жуковским, где упоминается отец.

всей Европе, с главной бурей, как всегда в Париже. Все это его угнетает. Кроме того и жене хуже, и у самого начинают болеть глаза, приходится диктовать.

“Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучит вместе с телом и душу, давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастье”.

Около Франкфурта беспокожно. Поехали в Ганау посоветоваться с врачом. В Ганау анархия. Елизавета Алексеевна так испугалась и разволновалась, что снова слегла. Все-таки, он повез ее в Эмс.

Собирался в Россию. Предпринял даже некоторые шаги. Но выехать все-таки не решился, из-за холеры в России (конец июля). Просто отправился в Баден. Тут стало несколько лучше обоим: и Елизавета Алексеевна оправилась, и его глаза восстановились — с этого-то октября по апрель 1849 г. и дописывал он “Одиссею”.

В Петербург не попал, но в конце января в Петербурге этом Вяземский и (немногие) друзья праздновали 50-и летний литературный его юбилей. Сделано это было интимно, в доме Вяземского — для чествования открытого слишком Жуковский в России был одинок.

Хозяин прочел свое стихотворение, Жуковскому посвященное, другое его же, положенное на музыку, даже пели. Приехал Наследник. Собрали подписи присутствовавших — приветствие переслали в Германию, с описанием праздника. Государь пожаловал юбиляру орден Белого Орла.

А самого Жуковского преследовали в Германии беспокойства. Весной, из-за политических тре-

волнений и “мятежа” пришлось спешно перебраться в Страсбург, лето же провести в “тихом приюте Интерлакена, близ черной Снежной Девы”, между Бриэнцским и Тунским озерами. По словам Зейдлица климат повредил там обоим. Во всяком случае осенью 49-го года Жуковский так пишет: “Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому, что произвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастье” (11 окт.).

С окончанием “Одиссеи” испытал он обычное для художника, двойственное чувство: вначале сознание законченного дела. Радостный вздох, освобождение. Но потом беспокойство. Что будет дальше? Ибо так уж художник устроен, что ему вечно катить в гору тяжесть. Докатит до ровного места, некой площадки горы Чистилища — радуется и отдыхает, груз сдан кому надо — и вот скоро тоскует уж и по новой тяжести: путь его — путь труда и подъема; доколе жив человек и дух его, так вот и будет ждать нового приложения.

Он развлекался теперь обучением дочери (Александры). Изобрел собственный метод учительский, как всегда в пустяках воображал, что создал что то важное. В делах детских, конечно, не преуспел, но в закатывающейся его жизни дана была ему и поважнее задача.

Замечательно, как с “лебединою песнью” Жуковского совпала болезнь глаз. (В сущности, оказалась не одна, а две лебединых песни, первая

даже и называется “Царскосельский лебедь” — семьдесят шестистопных хореев с рифмой — воспоминание о настоящем лебеде Царского Села, дожившем от Екатерининских времен до Александра I-го. Одиночество, отчужденность... — лебедь уединенно плавает среди молодежи, а потом вдруг, однажды, помолодевший, объятый восторгом, взвивается к небу с песнью — и падает оттуда мертвый).

Но главное, что занимало Жуковского после “Одиссеи”, был замысел более обширный — поэма “Странствующий жид” (“Агасфер”).

Это дитя он растил долго и долго жил с ним — до последнего своего вздоха. “Агасфер” не окончен. Его писал уже ослепший поэт — частью диктуя, частью записывая с помощью машинки, им самим и изобретенною: запись крупными, как бы печатными буквами.

Основа — давняя легенда об Агасфере, оттолкнувшем некогда Христа в Иерусалиме, на пути голгофском, от своих дверей, когда измученный Спаситель хотел к ним прислониться.

Он поднял грустный взгляд на Агасфера
И тихо произнес: “Ты будешь жить,
Пока Я не приду”. И удалился.

Начинаются скитания Агасфера — страшные, в злобе и ярости, в отчаянии. Но начинается и Жуковский. Нет безнадежности в страданиях Агасфера. Тот, кого он не пожалел, его жалеет — в бесконечных странствиях, тоске, терзаниях посылается ему встреча в Риме, на арене Колизея, с мучеником епископом Игнатием Антиохийским. В едином взоре мученика, как сквозь щелку, изли-

вается ему капля Благодати: он начинает понимать, каяться вместо того, чтобы проклинать, и в этом спасение его. Попадает далее на остров Патмос, к Иоанну Богослову, тот укрепляет, научает его. А там Иерусалим, весь уж сожженный, мертвый (лишь Голгофа в нежной зелени и цветах). Там, у порога собственного дома, бьется Вечный жид в рыданиях раскаяния, бежит на Голгофу, сохранившую еще углубления трех крестов — там снова молит о прощении. И теперь понимает, как само наказание привело его к спасению. Через душевную муку он как бы родился вновь.

Поэма обрывается на полустрочке. Помечено: апрель 1852 — год и месяц смерти Жуковского.

Слепой Мильтон написал “Потерянный и возвращенный Рай”. Жуковский во тьме глаз своих замыслил нечто, может быть, и не по силам. Поступил отчасти как и Гоголь (а ранее брался всегда за осуществимое). А все-таки, как хорошо, что написал “Агасфера”!

“Странствующий жид” вызвал разное к себе отношение. Одни ставят его на высокое место, не только в поэзии Жуковского, но и вообще. Другие находят, что как литература это слабо.

Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в “Агасфере” мало. Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство — скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном тоне гимн, пение предсмертное и хвала Богу.

“Его душа возвысилась до строю...”

Поэзия с рифмой давно покинула Жуковского. От литературы он не отошел (“Наль и Дамаянти”, “Рустем”, “Одиссея”, “Агасфер”), но художество его приняло формы иные. Трепета и остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писании. В плавных гекзаметрах легче, покойнее теперь ему повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное и глубокое, на само-то искусство бросающее ответ. “Наипаче ищите Царствия Божия” — давний, великий зов, пронсящий над русскою литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томило, иногда вызвало колебания и сомнения, но расло в нем с годами, как зерно горчичное. “И выросло, и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его”. Странно было бы, если бы такая жизнь не приводила к Царствию Божию.

Свет всегда жил в Жуковском. Скромностию своей, смиренным приятием бытия, любовью к Богу и ближнему, всем **отданием** себя он растил этот свет. Жизнь во многом нелегкая, с **основною** сердечною неудачей, до старости одинокая, в ста-

рости столь трудно-неодинокая... — но благородная и безупречная. Если вспомнить, кого только ни спасал он, ни выкупал из неволи(*), кому ни раздавал денег, за кого ни кланялся пред сильными мира сего, за каких декабристов, не любя их, ни хлопотал у **самого** Николая Павловича... Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообще “небесная”, то ведь скажешь: единственный кандидат в святые от литературы нашей.

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто-голубиный”

Тютчев, которого сам он всегда любил, пропел о кончине его высоко.

Гоголю было трудней. Жуковский же шел без помехи. Внутренняя его тема всегда была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде Промысел. Горести, тягости — все ничего: “Терпением вашим спасайте души ваши”. Так от “Теона и Эсхина” до последнего издыхания. Но в юности смутно, в зрелости выношено, выстрадано.

Как и Гоголь, много он теперь отдает сил Священному Писанию, книгам о религии и сам пишет в таком духе — о внутренней христианской жизни, о грехе, Промысле. “Три письма к Гоголю” — о смерти, молитве, словах и делах поэта. Это писание как бы окончательно уясняет ему самому важнейшее.

*) Тараса Шевченку, напр., собственных крепостных.

Он прожил жизнь скорей **около** Церкви, чем в церкви. У него не было тех корней, как у Хомякова, Киреевских, Аксаковых. Его религиозность в юности с романтическим оттенком, позже более прочная и покойная, но всегда очень личная. Как и в литературе, тяготение к Германии. “Религия души”, “религия сердца...” — Церкви он несколько опасался, как бы стеснялся, да может быть Церковь тогдашняя и показана была ему не надлежало.

Во всяком случае он кончает жизнь как глухо верующий, православный писатель. Через него принята православие (позже) и Елизавета Алексеевна. В православии же воспитываются и дети.

Духовенство он знал мало. В тридцатых годах одно время был близок с о. Герасимом Павским — кажется, единственный видный духовный деятель на пути его. Да и то эта близость была условная.

А теперь, в начале пятидесятых, сближается за границей с протоиереем Иоанном Базаровым, настоятелем прихода в Штутгарде.

У Гоголя был о. Матвей, взаимоотношения их известны. У Жуковского все по другому: нет ни напряжения, ни борьбы, ни драматизма. О. Иоанн просто **помогает** ему, ровно и спокойно движущемуся. Руководит самообразованием религиозным, достает книги, переписывается с ним. Начинает готовить к переходу в православие и Елизавету Алексеевну. Никакого надрыва и никакой бури. Жуковский созрел неторопливо, но и гармонически.

Гоголь умер в Москве, на Никитском бульваре, 21 февраля 1852 года. Жуковский узнал об этом из письма Плетнева. 5 марта, уже почти сле-

пой, написал ему: “Какою вестью вы меня оглушили — и как она для меня была неожиданна!... Я жалею о нем несказанно собственно для себя; я потерял в нем одного из самых симпатичных участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении”.

Тютчева тоже он любил, но знал гораздо меньше. Теперь литературный мирок его, свои и близкие — это Вяземский, Плетнев, Авдотья Елагина и “со-колыбельница” Аня Юшкова, ныне старушка Анна Петровна Зонтаг.

В этом-же феврале пригласил он к себе в Баден о. Иоанна, хотел причаститься на шестой неделе поста, вместе с детьми. Но за некоторое время до назначенного известил, что откладывает до Фоминой недели.

О. Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был плох. Елизавета Алексеевна отозвала о. Иоанна и сообщила, что муж опять колеблется, хочет отложить до петровского поста.

Был уже вечер. О Иоанн не стал тревожить больного, остался до другого дня. Утром, когда вошел, Жуковский опять стал просить отложить.

— Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться пред Ним?

О. Иоанн не согласился. Довод его был такой: не только он, Жуковский, идет ко Христу, но и Христос, во Св. Дарах, тоже к нему.

— Если бы сам Господь захотел придти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. Уговорились, что на другой день он причастится вместе с детьми. И успокоился внутренне. Внешне же впал в оживление, много рассказывал о. Иоанну о том, как учит

детей, вспоминал опять о своих исторических таблицах, велел принести их, показывал... но уже руки плохо повиновались.

9-го утром опять тоска: мучила мысль, что будет с семьей и детьми. О. Иоанн успокаивал: ни Господь, ни Государь не допустят (опасения были вполне напрасны).

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился — началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание - переход uspение. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша — как и сам жил. Именно он отчаливал.

Перед рассветом 12-го скончался.

О г л а в л е н и е

	Стр.
Мишенское и Тула	5
Университетский Пансион	20
Поэт	31
С Протасовыми	46
Деятель	59
Снова Протасовы	66
Воейков и Жуковский	84
Дерпт — Петербург	101
При дворе	121
Милые сердцу	135
Горе	155
Новые судьбы	162
Светлана	176
Наставник	183
Прощание с Россией	201
Елизавета Рейтерн	211
Семья, Гоголь, "Одиссея"	226
"Его душа возвысилась до строю"	242

